

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Преобразование

взгляда

- 3. Авторитарный высокий модернизм
- Открытие общества
- Радикальная власть высокого модернизма
- Высокий модернизм XX в.
- 4. Высокомодернистский город: эксперимент и критический анализ
- Тотальное городское планирование
- Бразилиа: высокомодернистский город построен — почти
- Ле Корбюзье в Чандигархе
- Выступление против высокомодернистского урбанизма: Джейн Джекобс
- 5. Революционная партия: ее план и оценка деятельности
- Ленин — архитектор и инженер революции
- Люксембург: врач и акушерка революции
- Александра Коллонтай и «Рабочая оппозиция» Ленину

3. Авторитарный высокий модернизм

“И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь.

Евгений Замятин. Мы

“Современная наука, которая сместила и заменила Бога, удалила его как ограничение свободы. Это создало вакансию: канцелярия высшего законодателя и управителя, проектировщика и администратора мирового порядка была теперь ужасающе пуста. Ее надо было заполнить... Пустота трона в течение эры модерна привлекала внимание визионеров и авантюристов. Мечта о всеобъемлющем порядке и гармонии оставалась такой же яркой, как всегда, но теперь ее осуществление казалось ближе, чем когда-либо, более, чем когда-либо, в пределах человеческих возможностей. Теперь во власти смертных землян было привнести ее в мир и обеспечить его господство.

Зигмунт Бауман. Современность и холокост

Все рассмотренные нами государственные упрощения изображают действительность картографически. Иными словами, они предназначены для привлечения внимания только к тем аспектам многосложного мира, которые имеют сиюминутный интерес для изготовителя карты. Жаловаться, что в картах опущены нюансы и детали, не имеет смысла, ведь и без этой информации карта выполняет свое предназначение. Если на ней зафиксировать каждый светофор, каждую выбоину, каждое здание, каждый кустик и каждое дерево в каждом парке, карта станет столь же большой и сложной, как сам город, который она изображает[204]. И это, конечно, скажется на цели картографии, которая по своей природе должна обобщать и суммировать. Карта — инструмент, предназначенный для выполнения определенной цели. Мы можем считать саму цель благородной либо преступной, но карта только выполняет свое предназначение или не в состоянии делать это.

Мы уже отмечали очевидную способность карт не только подытоживать, но и преобразовывать то, что они должны просто отображать. Этой способностью, конечно, обладает не сама карта, в власть, которой обладают смотрящие на нее[205]. Частная корпорация, стремящаяся максимально увеличить воспроизводство древесины и прибыль от нее, будет изображать свой мир согласно этой логике максимизации и будет использовать всю свою власть, чтобы доказать, что логика ее карты справедлива. Государство не имеет монополии на утилитарные упрощения. Но оно во всяком случае стремится к монополии на законное использование силы. Это делает понятным, почему с XVII в. до наших дней карты, имеющие наибольшую преобразовательную силу, изобретались и применялись таким мощным учреждением в обществе, как государство.

До недавнего времени способность государства навязывать обществу собственные схемы была ограничена его довольно скромными претензиями и ограниченными возможностями. Хотя утопические стремления к совершенному социальному контролю можно найти у мыслителей Просвещения, в монашеских и военных практиках, европейское государство XVIII в. в значительной степени оставалось всего лишь добывающим механизмом. Соответствует истине, что государственные чиновники, особенно при абсолютизме, наносили на карты намного больше поселений, землевладений, производственных и торговых предприятий, чем их предшественники, и что все они лучше извлекали доход, зерно и призывников из сельской местности. Но была некая ирония в их требовании абсолютной власти. Они испытывали недостаток в инструментах принуждения, в мелкоячеистой административной сетке, в детальном знании, которое позволило бы им более решительно экспериментировать с перестройкой общества. Чтобы дать полную волю их растущим амбициям, требовалось еще большее высокомерие, более мощные государственные машины, которые соответствовали бы задаче, и общество, которым они смогли бы легко завладеть. В середине XIX в. на Западе и в начале XX в. в других местах эти условия были налицо.

Я полагаю, что многие из наиболее трагических эпизодов государственного развития в конце XIX и в XX в. сопровождала особо губительная комбинация из трех элементов. Первый из них — это административное рвение, стремящееся навести порядок в природе и обществе, стремление, наблюдаемое в научном лесоводстве, но поднятое на более высокий и претенциозный уровень. Для его определения подходящим термином кажется «высокий модернизм»[206]. Этого стремления придерживались многие представители разных политических идеологий. Его главными носителями и выразителями были ведущие инженеры, проектировщики, технократы, администраторы высокого уровня, архитекторы, ученые и мыслители. Если вообразить пантеон или зал славы представителей высокого модернизма, там почти наверняка были бы имена графа Анри де Сен-Симона, Ле Корбюзье, Вальтера Ратенау, Роберта Макнамары, Роберта Мозеса, Жана Монне, шаха Ирана, Дэвида Лилиенталя, Владимира Ленина, Льва Троцкого и Джулиуса Ньерере[207]. Эти люди хотели пересмотреть и рационально перестроить все аспекты социальной жизни, чтобы улучшить условия существования человека. Как убеждение, высокий модернизм не был исключительной собственностью какого-нибудь политического направления; у него были, как мы увидим, и правые, и левые варианты. Второй элемент — безудержное использование власти современного государства как инструмента для реализации этих проектов. Третий элемент — ослабленное, обессиленное гражданское общество, которое не имеет

возможности сопротивляться претворению этих планов в жизнь. Идеология высокого модернизма заставляет желать такой перестройки; современное государство обеспечивает средства для действий в соответствии с этим желанием; выведенное из строя гражданское общество выравнивает социальный ландшафт, чтобы строить эти утопические (или скорее антиутопические) общества.

Обратимся — коротко — к предпосылкам высокого модернизма. Здесь важно отметить, что многие грандиозные бедствия XX в., организованные государством, обусловлены работой правителей над грандиозными и утопическими планами переустройства общества. Можно считать, что утопизм — это высокий модернизм справа, чему самым показательным примером является, конечно, нацизм[208]. Массивная социальная перестройка при апартеиде в Южной Африке, планы шаха Ирана модернизации своей страны, организация деревень во Вьетнаме и гигантские схемы позднеколониального развития (например, схема Гезира в Судане) также могут служить примерами правого утопизма[209]. Но все же невозможно отрицать, что многое из тотальных, насильственно проведенных государством социальных перестроек двадцатого столетия было результатом работы прогрессивных, часто революционных элит. Почему?

Ответ, я полагаю, заключается в том, что эти деятели, пришедшие к власти на волне всеобъемлющей критики существующего общества и желания преобразовать его, принятые народом (по крайней мере, первоначально), получившие полномочия на преобразования, конечно, имели самые прогрессивные намерения. Они хотели использовать власть, чтобы в корне изменить привычки людей, их работу, образ жизни, моральный облик и взгляд на мир[210]. Они развернули то, что Вацлав Гавел назвал «арсеналом всеобъемлющей социальной перестройки»[211]. Утопические стремления сами по себе не опасны. Как заметил Оскар Уайлд, «на карту мира, на которой нет Утопии, не стоит даже смотреть — на ней нет единственной страны, где всегда обитает человечность»[212]. Но когда утопическая мечта насаждается правящей властью, пренебрегающей демократией, попирающей гражданские права, когда государственная власть использует самые невероятные средства для ее достижения, тогда искажается образ самой утопии. Если это происходит жестоко, с нарушением человеческих прав, значит, общество, подвергнутое таким утопическим экспериментам, не способно сопротивляться.

Что же такое тогда высокий модернизм? Это наиболее мощная (можно даже сказать, чрезмерно мускулистая) версия уверенности в научно-техническом прогрессе, которая связана с индустриализацией в Западной Европе и в Северной Америке приблизительно с 1830 г. до Первой мировой войны. Высокий модернизм зиждется на уверенности в вечном прогрессе, связанном с развитием научно-технического знания, расширением производства, рациональным устройством общества, возрастающим удовлетворением человеческих потребностей и, не в последнюю очередь, с возрастающим контролем над природой (включая человеческую природу), обязанным научному пониманию естественных законов[213]. Таким образом, *высокий* модернизм есть особая, подчеркнутая уверенность в перспективах применения технического и научного прогресса — обычно при посредстве государства — в каждой области человеческой деятельности[214]. Если, как мы видели, упрощенные, утилитарные *описания* государственных чиновников благодаря вмешательству государственной власти приводили факты в соответствие с их представлениями, тогда

можно сказать, что высокомодернистское государство начиналось с *детальных предписаний* новому обществу и решительно намеревалось ввести их.

В конце XIX в. на Западе трудно было не быть модернистом того или иного толка. Кто мог не увлечься, даже не испытывать благоговейного ужаса перед огромными преобразованиями, вызванными наукой и промышленностью[215]? Любой, кому тогда было, скажем, 60 лет в Манчестере, в Англии, был свидетелем революции в производстве хлопка и текстиля, роста фабричной системы, использования пара и других новых механических устройств в производстве, замечательных крупных достижений в металлургии и транспорте (особенно ярким примером могут служить железные дороги) и появления дешевых товаров массового производства. Ошеломляющие достижения прогресса в химии, физике, медицине, математике и инженерном деле заставляли любого человека, даже только слегка соприкоснувшегося с миром науки, ожидать непрерывного потока новых чудес (вроде двигателя внутреннего сгорания и электричества). Беспрецедентные преобразования XIX в. многих оставили на обочине этой дороги, но даже жертвы прогресса не могут не признать, что было нечто весьма революционное в этих преобразованиях. Все это сегодня звучит довольно наивно — мы стали более трезвыми, лучше понимаем пределы технологического прогресса и то, какую цену за него приходится платить, мы приобрели скептицизм эпохи постмодерна по отношению к любым обобщающим соображениям. Однако эта наша новая позиция не учитывает ту огромную роль, которую модернистские предположения играли в нашей жизни, в частности, тот огромный энтузиазм и революционную гордость, которые были неотъемлемым свойством высокого модернизма.

Открытие общества

Путь от описаний к предписаниям был результатом глубинной психологической тенденции. Юридические кодексы Просвещения отражали не обычаи и особую практику людей, они были попыткой создать культурное сообщество посредством кодификации и обобщения наиболее рациональных из этих обычаев и подавления наиболее темных и варварских[216]. Установление единых стандартов мер и весов по всему королевству имело более высокую цель, чем только создание более удобных условий для торговли — новые стандарты были предназначены выражать и продвигать новое культурное единство. Задолго до создания инструментов для совершения этой культурной революции мыслители Просвещения, такие как Кондорсе, предвидели день, когда они будут созданы. В 1782 г. Кондорсе писал: «Появившиеся в наши дни науки, объект которых — сам человек, прямая цель которых — счастье человека, будут развиваться не менее уверенно, чем физика, и радостная мысль, что наши потомки превзойдут нас в мудрости и просвещении, больше не иллюзия. Размышляя о природе моральных наук, нельзя не увидеть того, что, поскольку они основаны, как и подобает наукам, на наблюдении фактов, они должны следовать тем же самым методам, приобретать такой же язык, равно строгий и точный, достигая той же самой степени уверенности в результате»[217]. То, о чем мечтал Кондорсе, в середине XIX в. стало реальным утопическим проектом. Упрощение и рационализация, сначала применявшиеся к лесам, системе мер и весов, налогообложению и фабрикам, теперь применялись к обществу в целом[218]. Так родилась социальная инженерия. Но если фабрики и леса могли планировать и частные предприниматели, перестройку целых обществ могло проектировать только национальное государство.

Эта новая концепция роли государства представляла собой фундаментальное преобразование взгляда на мир. Прежде действия государства были в значительной степени ограничены теми людьми, которые увеличивали богатство и власть суверена, что хорошо показывает пример научного лесоводства и камеральной науки. Идея, что одной из главных целей государства должно быть совершенствование всех членов общества — их здоровья, навыков и образования, продолжительности жизни, производительности труда, морали и семейной жизни, была сравнительно новой[219]. Конечно, существовала прямая связь между старой концепцией государства и новой. Государство, которое совершенствует привычки своего населения, его энергию, гражданскую мораль и навыки работы, тем самым увеличивает свою налоговую базу и создает лучшие армии; это была политика, которой мог бы следовать любой просвещенный монарх. И все же в XIX в. благосостояние населения все более стало пониматься не просто как средство подъема национальных сил, но и как самостоятельная цель.

Одной из необходимых предпосылок этого преобразования было открытие общества как некоего отдельного от государства объекта, который можно научно описать. В этом отношении статистическое знание о населении — его возраст, характеристики, занятия, материальное положение, грамотность, владение собственностью, степень

законопослушности (что видно из статистики преступлений) — позволяет государственным чиновникам характеризовать граждан новыми и сложными способами, так же, как научное лесоводство позволило леснику аккуратно описывать лес. Йен Хакинг объясняет, каким образом уровень, например, самоубийств или убийств характеризует людей вообще, так что можно рассчитать число убийств, которые будут совершены за год, хотя конкретные убийцы и их жертвы еще неизвестны[220]. Статистические факты позволили разработать социальные законы. От упрощенного описания общества к его проектированию и манипуляциям с ним во имя его совершенствования — шаг небольшой. Если можно менять природу, чтобы создавать более удобный для человека лес, почему бы не изменить общество, чтобы создать более удобное население?

Возможности вмешательства потенциально бесконечны. Общество стало объектом, которым государство могло управлять и которое оно могло совершенствовать. Прогрессивное национальное государство приступает к проектированию общества согласно наиболее продвинутым техническим стандартам новых моральных наук. Существующий социальный порядок, который более ранними государствами принимался как данность, впервые стал предметом активного управления, воспроизводя себя под бдительным присмотром государства. Оказывается, можно проектировать искусственное общество не по обычаю и произволу истории, а согласно сознательным, рациональным, научным критериям. Каждый укромный уголок, каждая извилина социального порядка могли подвергнуться улучшению: личная гигиена, питание, воспитание детей, жилье, состояние, отдых, структура семьи и, самое позорное, генетический фонд[221]. Первым объектом научного социального планирования стали бедные рабочие[222]. Системы улучшения их повседневного благосостояния разрабатывались прогрессивной городской здравоохранительной политикой и насаждались в образцовых фабричных городах недавно созданными организациями. Группы населения, признанные потенциально опасными, — нищие, бродяги, психически больные и преступники — могли стать объектами наиболее интенсивной социальной инженерии[223].

В метафоре садоводства, предлагаемой Зигмунтом Бауманом, заложено многое из этого нового духа. Садовник — возможно, здесь больше подойдет ландшафтный архитектор, специализирующийся в создании садов, — берет естественный участок и создает полностью искусственное пространство ботанического порядка. Хотя органический характер флоры ограничивает его возможности, садовник все же имеет огромную свободу действий в общем размещении и возделывании, обрезке, насаждении и выпалывании отобранных растений. Отношение между садом и природой, которая живет сама по себе, подобно отношению между полностью управляемым научным лесом и естественным лесом. Сад — одна из попыток человека навязать природе собственные принципы порядка, полезности и красоты[224]. То, что растет в саду, всегда представляет собой небольшой, сознательно отобранный образец того, что там могло бы расти. Точно так же социальные инженеры намереваются сознательно проектировать и поддерживать более совершенный социальный порядок. Вера Просвещения в самосовершенствование человека превратилась постепенно в веру в совершенствование социального порядка.

Один из самых больших парадоксов социальной инженерии состоит в том, что она, кажется, вообще находится в разногласии со всем опытом современности. Пытаясь искусственно

вырастить социальный мир, наиболее поразительная характеристика которого в реальности — текучесть, «садовники» пытаются управлять вихрем. Маркс был не одинок в своем утверждении, что «постоянная реконструкция производства, непрерывное встряхивание всех социальных отношений, постоянная неуверенность и ажитация отличают буржуазную эпоху от всех более ранних времен»[225]. Опыт современности (в литературе, искусстве, промышленности, транспорте и популярной культуре) — прежде всего опыт ускорения изменений, который самозванные модернисты находят бодрящим и освобождающим[226]. Возможно, наиболее благотворный путь решения этого парадокса — понять таких проектировщиков общества, ведь они имели в виду приблизительно то, что проектировщики автомобилей и самолетов называют «обтекаемой формой». Они не стремились задержать социальные изменения, а надеялись спроектировать форму социальной жизни, которая минимизирует трение прогресса. Но государственная социальная инженерия врожденно авторитарна. Вместо многих источников изобретений и внесения изменений допускается единственный — планирующая власть; вместо пластичности и самостоятельности существующей социальной жизни устанавливается социальный порядок, в котором положения участников четко обозначены. Тенденция к различным формам социальной таксидермии — искусственной жизни — была неизбежна.

Радикальная власть высокого модернизма

“ Реальность состоит в том, что на сей раз мы собираемся применить науку к социальным проблемам и поддерживаем ее всей силой государства, так же, как в прошлом всей силой государства поддерживались войны.

К.С. Льюис. Эта отвратительная сила

Тревожащие особенности высокого модернизма проистекают главным образом из его претензий на усовершенствование условий человеческого существования от имени научного знания и отрицания всех иных, конкурирующих источников суждения.

Прежде всего и самое главное — высокий модернизм полагает возможным радикально порвать с историей и традицией. Поскольку современная рациональная мысль и научные законы могут дать единственно верный ответ на каждый эмпирический вопрос, ничто не должно считаться само собой разумеющимся. Все человеческие привычки и способы действий, которые достались нам в наследство и, следовательно, не были основаны на научном рассуждении, — от структуры семьи и места жительства до моральных ценностей и способов производства — должны быть заново исследованы и спроектированы. Конструкции прошлого были типичным продуктом мифа, суеверия и религиозных предрассудков. Из всего этого следовало, что научно разработанные системы производства и социальной жизни будут лучше традиционных.

Источники такого представления глубоко авторитарны. Из суждения, что запланированный социальный порядок лучше случайного, сложившегося в результате исторической практики, следуют два заключения. Для управления в новую эпоху пригоден только тот, кто владеет научным знанием, позволяющим различать и создавать этот превосходящий прошлое социальный порядок. Более того, тот, кто по своему ретроградному невежеству отказывается уступить научному плану, должен быть образован для собственной же пользы, в противном случае его сметут с пути. Сильные версии высокого модернизма, вроде тех, которых придерживались Ленин и Ле Корбюзье, культивировали безжалостность по отношению к объектам их вмешательств. Наиболее радикальный высокий модернизм предлагал все дочиста стереть и начать с нуля[227].

Идеология высокого модернизма, таким образом, склонна недооценивать или вообще изгонять политический подход. Политические интересы могут только мешать социальным решениям, выдвинутым специалистами с адекватными научными инструментами анализа.

Как частные люди приверженцы высокого модернизма могли придерживаться довольно демократических взглядов на народный суверенитет или классических либеральных представлений о неприкосновенности частной сферы, обязывавших к определенным ограничениям права на вмешательство, но такие убеждения были чисто внешними и шли вразрез с их высокомодернистскими взглядами.

Хотя высокие модернисты и хотели преобразовать социальные привычки и человеческий характер, начали они не с этого, а с непомерного стремления преобразовать природу на пользу человека — стремления, которое оставалось самым важным в их вере. Интеллектуалы почти всех политических убеждений были заморожены утопическими идеями, пленены победной песней техническому прогрессу, которая прозвучала в *Коммунистическом Манифесте* Маркса и Энгельса: «Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения»[228]. Эти перспективы капиталистического развития стали для Маркса отправной точкой социализма, который впервые поставит плоды капитализма на службу рабочему классу. В конце XIX в. интеллектуальная атмосфера была полна такими обширными техническими проектами, как Суэцкий канал, который был закончен в 1869 г. и имел огромные последствия для торговли между Азией и Европой. Страницы «Le globe», органа утопических социалистов, придерживающихся взглядов Сен-Симона, заполнял бесконечный поток обсуждений таких грандиозных проектов, как строительство Панамского канала, развитие Соединенных Штатов, перспективные системы передачи энергии и транспорта. Вера в то, что человек покорит природу, удовлетворит свои интересы и обеспечит безопасность, составляла, вероятно, краеугольный камень высокого модернизма частично и потому, что успех столь многих великих начинаний уже проявился[229].

И снова, еще раз стал ясен авторитарный и пренебрегающий индивидуальностью характер этой мечты. Сам масштаб таких проектов подразумевал, что за немногими исключениями (такими, как ранние каналы) они потребуют больших финансовых вливаний через налоги или кредит. Даже если предположить, что в капиталистической экономике они будут финансироваться частным образом, неминуемо потребуеться сильная государственная власть, способная отменять частную собственность, перемещать людей против их желания, гарантировать ссуды или выполнение требуемых обязательств и координировать работу многих государственных организаций. В обществе, в котором индивидуальность не имеет значения, будь это Франция Луи Наполеона или Советский Союз Ленина, такая власть была уже включена в политическую систему. В демократическом обществе такие задачи потребовали бы создания новых общественных организаций — суперагентств, имеющих полномочия от правительства посылать людей на Луну или возводить дамбы, проводить ирригационные работы, строить дороги и системы общественного транспорта.

Излюбленное время высокого модернизма — почти исключительно будущее, хотя любая идеология, основанная на вере в прогресс, выделяет будущее время. Прошлое — это препятствие, история, которую надо преодолеть; настоящее — стартовая площадка для запуска в лучшее будущее. Ключевая характеристика как высокомодернистских рассуждений, так и публичных заявлений глав тех государств, которые им охвачены, это

полная уверенность в героическом продвижении к целиком преобразованному будущему миру[230]. Стратегически выбор такого будущего связан с определенными последствиями. В той степени, в какой грядущее известно и достижимо, а вера не позволяет сомневаться в этом — в завтрашних выгодах можно не сомневаться. Практический эффект должен убедить большинство высоких модернистов, что уверенность в лучшем будущем оправдывает многие краткосрочные жертвы, требуемые, чтобы получить туда доступ[231]. Повсеместная распространенность пятилетних планов в социалистических государствах — пример этого убеждения. Прогресс воплощается в ряде предвидимых целей, в значительной степени материальных и измеримых, которые должны быть достигнуты посредством экономии труда и капитальных вложений. Конечно, не может быть никакой альтернативы планированию, особенно когда безотлагательность единственной цели, такой, как победа в войне, требует подчинения ей всего остального. Однако внутренняя логика подобного упражнения подразумевает такую степень уверенности в будущем, в вычислимости средств, ведущих к цели, и в смысле человеческого существования, которое является поистине героическим. Такие планы должны бы часто корректироваться или уж быть совсем оставлены, но это требует такого героизма, который выходит за рамки человеческих возможностей.

В этом толковании высокий модернизм должен обращаться к классам и стратам, которые, разделяя такой взгляд на мир, больше всего выиграют — в статусе, власти и богатстве. И, действительно, это — идеология преимущественно бюрократической интеллигенции, технологов, планировщиков и инженеров[232]. Их положение подразумевает не только права и привилегии, но и ответственность за великую работу создания нации и социального преобразования. А если историческая миссия интеллигенции состоит в том, чтобы перетащить свой технически отсталый, необученный, ориентированный только на выживание народ в XX в., принятая на себя культурная роль воспитателя своего народа становится вдвойне грандиозной. Наличие столь широкой миссии может преисполнить правящую интеллигенцию высокой моралью, солидарностью и готовностью приносить (и навязывать другим) жертвы. Это видение великого будущего часто резко контрастирует с беспорядком, нищетой и непристойной схваткой за мелкие преимущества, которые у всех перед глазами. И легко представить, что чем более неподатлив и упорен реальный мир, перед которым стоит планировщик, тем больше потребность в утопических планах, заполняющих пустоту, от которой иначе можно впасть в отчаяние. Те, кто неявно разрабатывают такие планы, представляют себя как образцы для изучения прогрессивных представлений, к которым их соотечественники могли бы стремиться. Учитывая идеологические преимущества высокого модернизма как учения, можно не удивляться тому числу представителей избранной постколониальной верхушки, которые прошли под ее знаменем[233].

Задним числом, конечно, легко судить, однако эта малопривлекательная картина деяний высокого модернизма все же в некотором важном отношении чрезвычайно несправедлива. Если поместить происхождение высокомодернистской веры в надлежащий исторический контекст, если спросить, кто были врагами высокого модернизма, появляется гораздо более внятный образ. Доктора и реформаторы здравоохранения, овладевшие новым знанием, которое могло спасти миллионы жизней, часто шли наперекор распространенным предрассудкам и укоренившимся политическим интересам. Городские архитекторы, которые могли так перепроектировать городское жилье, чтобы сделать его более дешевым,

более здоровым и более удобным, были ограничены интересами торговли недвижимостью и существующими вкусами. Изобретатели и инженеры, предложившие новые, революционные способы получения энергии и транспортировки, сталкивались с противодействием промышленников и работников, опасавшихся уменьшения прибыли и числа рабочих мест.

Для высоких модернистов XIX в. научное господство над природой (включая и человеческую) было символом освобождения. Оно, по наблюдению Дэвида Харви, «обещало свободу от скудости, неудовлетворенных желаний и произвола стихий». «Развитие рациональных форм социальной организации и рациональных способов мышления обещало освобождение от иррациональности мифа, религии, суеверий, освобождение от произвола власти, а также от темной стороны нашей человеческой природы»[234]. Прежде чем обратиться к более поздним версиям высокого модернизма, мы должны напомнить два важных факта о его развитии в XIX в.: во-первых, практически каждое высокомодернистское вмешательство было предпринято при поддержке граждан, ищущих помощи и защиты, а во-вторых, все мы так или иначе испытали на себе благотворное влияние различных высокомодернистских систем.

Высокий модернизм XX в.

Идея радикальной рациональной перестройки социального порядка в целом, создание рукотворных утопий — в значительной степени явление XX в. И совокупность исторических обстоятельств оказалась особенно благоприятной для процветания идеологии высокого модернизма. К этим обстоятельствам относятся прежде всего кризисы государственной власти, возникающие в результате войн и экономических депрессий, и ситуации, в которых увеличивается способность государства беспрепятственно планировать жизнь своих граждан, такие, как революционное завоевание власти или колониальное правление.

Индустриальные войны XX в. потребовали беспрецедентных шагов к полной мобилизации общества и экономики[235]. Даже весьма либеральные страны, такие как Соединенные Штаты и Англия, в условиях военной мобилизации стали обществами, непосредственно руководимыми административными ведомствами. Всемирная депрессия 30-х годов также толкала либеральные государства на крупные эксперименты в социальном и экономическом планировании в стремлении уменьшить экономическое бедствие и сохранить законопослушность народа. В случаях войны и депрессии общество под давлением обстоятельств возвращается к централизованному управлению. В эту же категорию хорошо укладывается и послевоенное восстановление разрушенного войной хозяйства.

Революционные преобразования и колониализм, обладающие необычной властью, скатываются к высокому модернизму по различным причинам. Революционное государство, победившее прежний режим, часто имеет от своих приверженцев мандат на переделку обессиленного гражданского общества, мало способного к активному сопротивлению[236]. Тысячелетние ожидания, обычно связываемые с революционными движениями, дают стимул высокомодернистским амбициям. Колониальные режимы, особенно позднеколониальные, часто оказывались полем для обширных экспериментов по социальной перестройке[237]. Идеология «колониализма благосостояния» в сочетании с авторитарной властью, свойственной колониальному правлению, поощряла честолюбивые схемы переделки местных обществ.

Очень трудно точно определить место и время рождения высокого модернизма XX в., а также того конкретного человека, которому он обязан своим рождением, поскольку высокий модернизм имел много интеллектуальных источников. Все же наиболее ярким примером является немецкая мобилизация в период Первой мировой войны и личность Вальтера Ратенау, тесно с ней связанного. Немецкая экономическая мобилизация была технократическим чудом войны. То, что Германия продолжала держать армии на поле боя и, соответственно, снабжать их гораздо дольше, чем это было возможно, по мнению большинства наблюдателей, в значительной степени объяснялось планированием Ратенау[238]. Инженер, глава крупнейшей электрической фирмы A.E.G. (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), основанной его отцом, Ратенау отвечал за доставку военного сырья (Kriegsrohstoffabteilung)[239]. Он понял, что рациональное планирование сырья и транспорта

— ключ к поддержанию военных усилий. Шаг за шагом изобретая плановую экономику, Германия совершила подвиг — в индустриальном производстве, производстве боеприпасов и поставке вооружения, транспортировке и контроле движения, контроле за ценами и нормировании продуктов — шаг, никогда и никем прежде не предпринимавшийся. Этапы планирования и координации требовали беспрецедентной мобилизации призывников, солдат и военизированной индустриальной рабочей силы. В результате появилась идея создания «управляемых массовых организаций», которые должны были охватывать все общество[240].

Вера Ратенау в распространение планирования и рационализацию производства была основана на интеллектуальной связи между законами термодинамики, с одной стороны, и новыми прикладными науками, изучавшими деятельность человека, с другой. Для многих специалистов узкой и материалистической «продуктивизм» позволял понимать человеческую рабочую силу как механическую систему, которую можно проанализировать на языке физики работы. Упрощение человеческой деятельности до механической полезной работы ведет прямо к научному контролю за целостным трудовым процессом. Материализм конца XIX в., как подчеркивает Ансон Рабинбах, в своем метафизическом ядре содержал эквивалентность технологии и физиологией[241].

Продуктивизм имел по крайней мере два разных места происхождения: североамериканское и европейское. Исследования американца Фредерика Тейлора деятельности рабочего, разложенной на изолированные, точные, повторяемые движения, привели к настоящей революции в организации работы фабрики[242]. Фабричному менеджеру или инженеру недавно изобретенные сборочные линии позволили использовать малокавалифицированную рабочую силу и контролировать не только темп производства, но и трудовой процесс в целом. Европейская традиция «энергетики», которая сосредоточилась на вопросах движения, усталости, отдыха, рациональной гигиены и пищи, также представляла себе рабочего как машину, хотя и машину, которая должна хорошо питаться и сохранять нормальное рабочее состояние. Вместо конкретных рабочих рассматривался абстрактный, стандартизированный субъект, обладающий усредненными физическими силами и потребностями. Работа института кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Institut für Arbeitsphysiologie), занимавшегося физиологией трудовой деятельности, подобно тейлоризму, была основан на системе рационализации функционирования органов тела[243].

Обе эти традиции были примечательны тем, что в них глубоко верили образованные элиты, которые во всем остальном придерживались противоположных точек зрения, особенно в политике. «Тейлоризм и технократия были лозунгами, идеалистическими в трех направлениях: устранении экономического и социального кризиса, увеличении — с помощью науки — производительности труда и восстановлении магии технологии. Образ общества, в котором социальный конфликт устранен и заменен чисто технологическими и научными проблемами, мог захватить либерала, социалиста, авторитариста и даже коммуниста или фашиста. Продуктивизм, короче говоря, был политически разнороден»[244]. Обращение правых и центристов к той или иной форме продуктивизма в значительной степени объяснялось надеждой на его возможности технологически справиться с классовый борьбой. Если, как утверждали сторонники продуктивизма, с его помощью можно

значительно увеличить объем продукции, то политику перераспределения можно заменить классовым сотрудничеством, в котором и прибыль, и заработная плата будут расти одновременно. Многим левым продуктивизм обещал замену капиталиста инженером, государственным экспертом или чиновником. Он также предлагал единственное оптимальное решение, или «лучшую практику», для любой проблемы в организации труда. Логическим результатом была бы некоторая форма уравнительного авторитаризма, устраивающая, возможно, всех[245].

Сочетание глубоких знаний Ратенау в философии и экономике с его опытом планирования в военное время, а также социальные последствия, которые он связывал с точностью, распространением и преобразовательным потенциалом электроэнергии, позволили ему сделать полезные выводы для социальной организации. Во время войны частная промышленность открыла дорогу своего рода государственному социализму: «гигантские индустриальные предприятия вышли за пределы их якобы частных владельцев и всех законов о собственности»[246]. Требуемые решения не имели никакого отношения к идеологии; они диктовались чисто техническими и экономическими требованиями. Правление специалистов и новые технологические возможности, особенно разветвленные сети электроэнергии, сделали возможным новый социально-индустриальный порядок, который был и централизован, и локально автономен. В необходимом во время войны объединении индустриальных фирм, технократов и государства Ратенау усмотрел форму прогрессивного общества мирного времени. Поскольку технические и экономические условия реконструкции были очевидны и требовали того же вида сотрудничества во всех странах, рационалистическая вера Ратенау в планирование имела еще и интернациональное значение. Он характеризовал современную эпоху как «новый машинный порядок... а также консолидацию мира в бессознательную ассоциацию самоограничения, в непрерывное сообщество производства и гармонии»[247].

Мировая война была высшей точкой политического влияния инженеров и планировщиков. Увидев, что произошло в чрезвычайных обстоятельствах, они представили себе, что было бы, если бы такая энергия и такое планирование были направлены на народное благосостояние, а не на массовое разрушение. Вместе со многими политиками, промышленниками, лейбористскими лидерами и видными интеллектуалами (такими, как Филип Гиббс в Англии, Эрнст Юнгер в Германии и Гюстав Ле Бон во Франции) они пришли к выводу, что только обновленная и всесторонняя деятельность, посвященная техническим инновациям и планированию, может восстановить европейскую экономику и принести социальный мир[248].

Сам Ленин, пораженный достижениями немецкой индустриальной мобилизации, был убежден, что они открывают путь социализации производства. Вера Ленина в неизменность открытых Марксом законов социальной жизни, родственных законам развития Дарвина, сравнима только с его убежденностью, что новые технологии массового производства основаны на научных законах, а не на социальных конструкциях. Всего за месяц до революции октября 1917 г. он писал, что война «ускорила развитие капитализма в такой громадной степени, преобразовывая монополистический капитализм в государственно-монополистический, что ни пролетариат, ни революционные мелкобуржуазные демократы не могут уже удержаться в рамках капитализма»[249]. Он и его экономические советники в

планировании советской экономики основывались непосредственно на работе Ратенау и Моллендорфа. Для Ленина немецкая военная экономика была «окончательна в современных, крупномасштабных капиталистических методах планирования и организации»; он выбрал ее в качестве прототипа социалистической экономики[250]. Если бы рассматриваемое государство было в руках представителей рабочего класса, базис социалистической системы уже существовал бы. Ленинское представление о будущем очень напоминало взгляд Ратенау, но, конечно, если оставить в стороне не столь уж мелкий вопрос о революционном захвате власти.

Ленин высоко оценил преимущества тейлоризма на фабричном уровне, предлагая их для социалистического контроля над производством. И хотя раньше он осуждал эти методы, называя их «потогонной системой», ко времени революции он стал восторженным поклонником существующего в Германии систематического контроля за производством, расхваливая «принцип дисциплины, организации и гармоничного сотрудничества, основанного на современной механизированной промышленности, наиболее твердой системе ответственности и контроля»[251].

“ «Последнее слово капитализма, система Тейлора, как и весь капиталистический прогресс, является сочетанием тонкой изворотливости буржуазной эксплуатации и множества ее больших научных достижений в анализе механических действий в процессе работы, устранения лишних и неуклюжих движений, правильной работы правильными методами, введения лучшей системы бухгалтерского учета и контроля и т. д. Советская республика должна любой ценой использовать все, что является ценным в достижениях науки и техники в этой области... Мы должны организовать в России изучение системы Тейлора и обучение ей, систематически опробовать ее и приспособить к нашим целям»[252].

В 1918 г., при спаде производства, Ленин, призывая к твердым нормам работы, был готов, если это окажется необходимым, снова ввести ненавистную сдельщину. В 1921 г. был созван Первый Всероссийский съезд по научной организации труда и вызвал споры между сторонниками тейлоризма и энергетики (также называемой «эргономикой»). По крайней мере двадцать институтов и многие журналы были в то время в Советском Союзе целиком посвящены научному управлению. Командная экономика на макроуровне и тейлористские принципы центральной координации на микроуровне фабрики были привлекательными и хорошо сочетались в сознании такого авторитарного высокого модерниста и революционера, каким был Ленин.

Несмотря на соблазны, которые в XX в. привлекали людей к высокому модернизму, эти идеи часто встречали сопротивление. Причины были сложные и разные. Я не собираюсь подробно исследовать все потенциальные препятствия высокомодернистскому планированию, но один барьер, установленный либеральными демократическими идеями и учреждениями, заслуживает внимания. Три фактора здесь кажутся решающими. Первый — существование частной сферы деятельности и вера в то, что государство и его организации не могут по

закону в нее вмешиваться. Безусловно, эта зона автономности уже изживала себя, так как, по Мангейму, частная сфера постепенно становилась объектом государственного вмешательства. В работе Мишеля Фуко была сделана попытка систематизировать эти вмешательства государства в здоровье, сексуальность, психические болезни, бродяжничество и проанализировать стратегии, лежащие в их основе. Несмотря на это, сама идея неприкосновенности частного мира служила фактором ограничения амбиций многих высоких модернистов посредством либо их собственных политических ценностей, либо правильного отношения к политической буре, которую вызвали бы такие вмешательства.

Второй фактор, тесно связанный с первым, — частный сектор в либеральной политической экономике. Как выразился Фуко, в отличие от абсолютизма и меркантилизма «политическая экономия объявляет невозможным определить, какой из множества экономических процессов является независимым, и, как следствие, считает *невозможным экономический суверенитет*»[253]. Мысль либеральной политической экономии состояла не только в том, что свободный рынок защищает собственность и созданное богатство, но и в том, что экономика слишком сложна для того, чтобы когда-либо детально управляться иерархической администрацией[254].

Третье и, пожалуй, наиболее важное препятствие радикальному применению высокомодернистских схем — деятельность представительских учреждений, через которые могло проявляться общественное сопротивление. Такие учреждения мешали реализации наиболее жестких высокомодернистских схем приблизительно таким же путем, которым гласность и мобилизация оппозиции в открытых обществах, как показал Амартия Сен, предотвращают голод. Правители, замечает он, не допускают голода и готовы его заблаговременно предупредить, если их положение зависит от внешних факторов. Свобода слова и печати гарантирует широкое распространение информации о надвигающемся голоде, а свобода собраний и выборов в представительские учреждения заставляет избранных чиновников по возможности предотвратить голод, поскольку это отвечает интересам их самосохранения. Так что при либеральных демократических установлениях деятели, предлагающие высокомодернистские системы, должны приспосабливаться к мнению граждан, чтобы быть избранными.

Но высокий модернизм, не сдерживаемый либеральной политической экономией, лучше всего может быть понят через разработку его далеко идущих притязаний и их последствий. Именно к этому, к практической топографии в городском планировании и революционным рассуждениям по этому поводу мы теперь обратимся.

4. Высокомодернистский город: эксперимент и критический анализ

“Никто, мудрый Кублай, не знает лучше Вас, что никогда не нужно смешивать город и слова, которые его описывают.

Итало Кальвино. Невидимые города

“Время — фатальное препятствие барочной концепции мира: его механический порядок не делает никаких послаблений на рост, изменение, адаптацию и творческое возобновление. Коротко говоря, барочный план был одномоментным. Он должен был быть выстроен одним ударом, установлен и заморожен навеки, как будто созданный вдруг аравийской ночью гением. Для такого плана нужен архитектурный деспот, работающий на абсолютного правителя, который будет жить достаточно долго, чтобы воплотить собственные представления. Изменять этот план, вводить новые элементы из иного стиля означало бы нарушить его эстетическую основу.

Льюис Мамфорд. Город в Истории

В эпиграфе из Мамфорда к этой главе речь идет о Вашингтоне Пьера-Шарля Ланфана в частности и о барочном городском планировании вообще[255]. Критику такого же плана, только более мощную, можно направить в адрес мысли и деятельности швейцарского франкоязычного эссеиста, живописца, архитектора и планировщика Шарля Эдуарда Жаннере, больше известного под именем Ле Корбюзье. Жаннере являл собой живое воплощение высокомодернистского городского проекта. Его активная деятельность протекала приблизительно между 1920 и 1960 гг., и он был скорее мечтательным планировщиком планетарных амбиций, чем архитектором. Большинство его гигантских замыслов никогда не было воплощено; они обычно требовали политического решения и финансовых средств, которые могли собрать очень немногие политические власти. Однако некоторые памятники его экспансивному гению все же существуют, наиболее известны из

них Чандигарх, суровая столица Пенджаба в Индии, и L'Unite d'Habitation, большой комплекс квартир в Марселе, но его творческое наследие лучше всего выражено в логике непостроенных мегапроектов. В разное время он предложил схемы городского планирования Парижа, Алжира, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Стокгольма, Женевы и Барселоны[256]. Его ранние политические взгляды были причудливым сочетанием революционного синдикализма Сореля и утопического модернизма Сен-Симона, он проектировал и в Советской России (1928—1936 гг.)[257], и в Виши для маршала Филиппа Петена. Ключевой манифест современного городского планирования — Афинская хартия Международного конгресса современной архитектуры (Congres Internationaux d'Architecture Moderne — CIAM) — вполне точно отразил его доктрины.

Ле Корбюзье словно мстил огромному, принадлежавшему веку машин, иерархическому, централизованному городу. Если искать карикатуру — полковника Блимпа, но модерниста-урбаниста — едва ли можно было преуспеть больше, чем изобрести Ле Корбюзье. Его экстравагантные, но влиятельные взгляды были очень показательны в том смысле, что они проявляли логику, неясную в высоком модернизме. В своей смелости, блеске и последовательности Ле Корбюзье отливает веру в высокий модернизм в абсолютно четкий рельеф[258].

Тотальное городское планирование

В «Лучезарном городе» (La ville radieuse), опубликованном в 1933 г. и переизданном с небольшими изменениями в 1964 г., Ле Корбюзье предлагает наиболее полный обзор своих взглядов[259]. Здесь, как и в других публикациях, планы Корбюзье осознанно нескромны. Если Е.Ф. Шумахер отстаивал достоинство малости, то Ле Корбюзье утверждал: «Большое красиво». Лучший способ оценить пределы его расточительности — кратко рассмотреть три из его проектов. Первый — это основная идея, заложенная в его план Voisin центрального Парижа (рис. 14); второй — новый, «деловой город» для Буэнос-Айреса (рис. 15); последний — обширная схема жилого района приблизительно на 90 тыс. жителей в Рио-де-Жанейро (рис. 16).

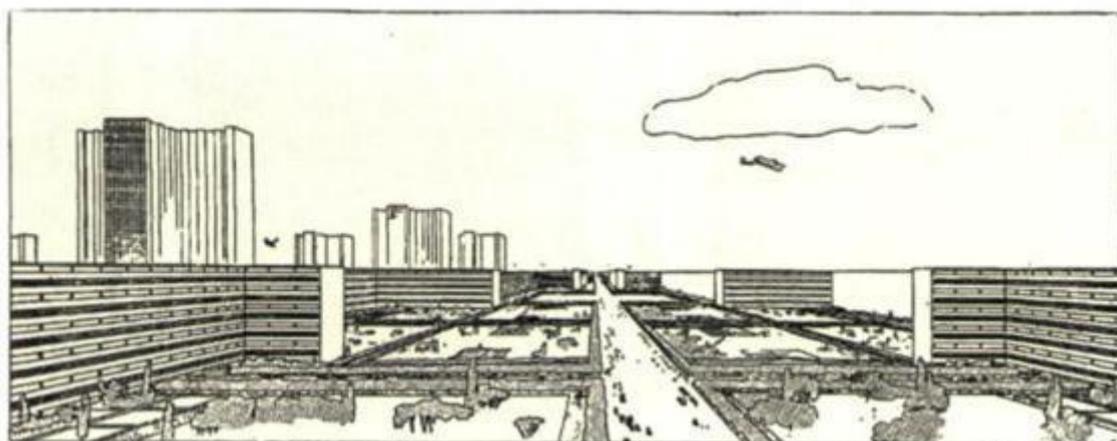


Рис. 14. План Ле Корбюзье квартала Voisin для Парижа на 3 млн человек.

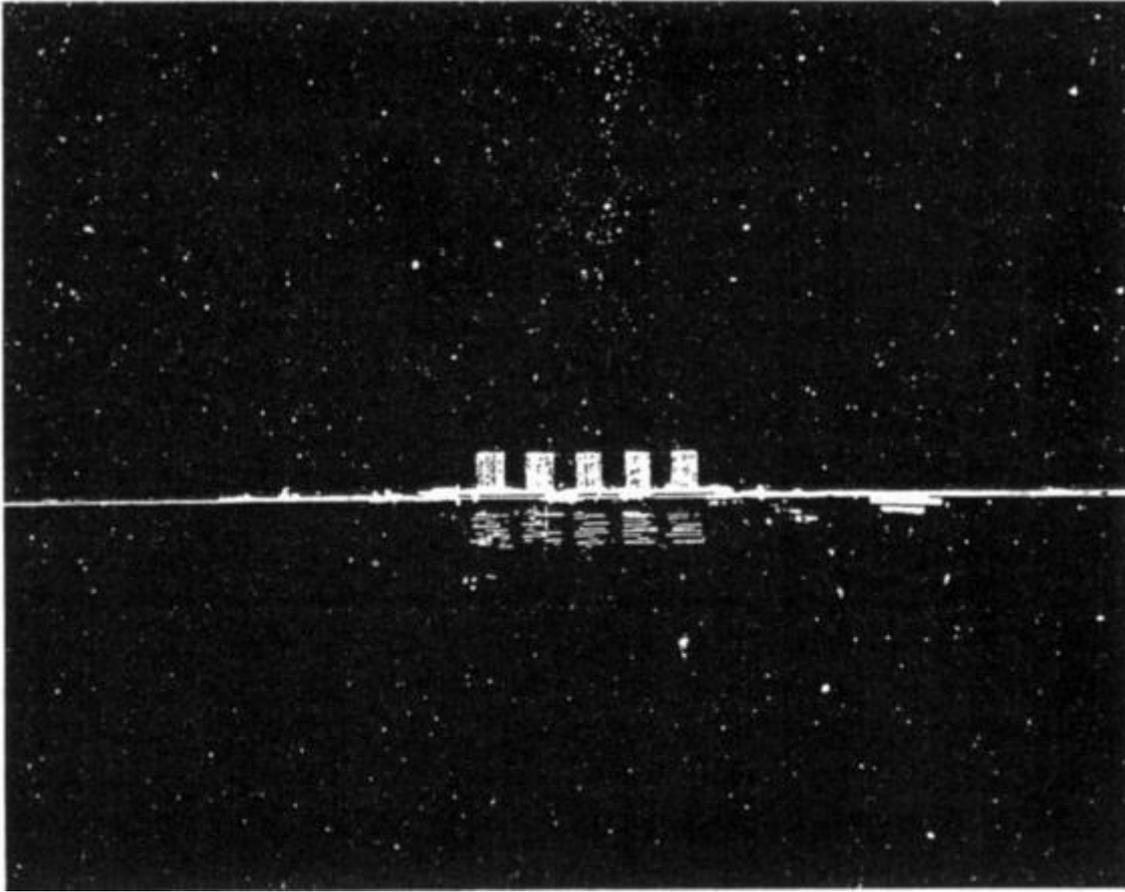


Рис. 15. План Ле Корбюзье «делового города» Буэнос-Айреса, как будто видимый с приближающегося судна



Рис. 16. План Ле Корбюзье дорог и жилых кварталов в Рио-де-Жанейро

Уже по своему размаху эти планы говорят сами за себя. Ле Корбюзье не идет ни на какой компромисс с уже существующим городом — новый городской пейзаж полностью вытесняет прежний. В каждом случае новый город имеет поразительные скульптурные свойства: он предназначен оказывать мощное визуальное воздействие своей формой. Стоит отметить, что это воздействие сказывается только на большом расстоянии. Буэнос-Айрес изображен так, как будто его рассматривают с расстояния многих миль с моря: вид Нового Света «после двухнедельного плавания», пишет Ле Корбюзье, принимая позу современного Христофора Колумба[260]. Рио-де-Жанейро виден как бы с высоты. Мы созерцаем шоссе в 6 км длиной, которое взбирается на сотню метров вверх и окаймлено непрерывной лентой пятнадцатизэтажных жилых домов. Новый город в буквальном смысле возвышается над

старым. План нового квартала в Париже также видится издалека, с высоты и как бы со стороны, большое расстояние подчеркивается точками, изображающими машины на главном проспекте, маленький самолет и, кажется, вертолет. Ни один из планов не имеет никакого отношения к истории, традициям или эстетическим вкусам места, в котором он должен быть реализован. Поразительно, но изображенные города не имеют никакой специфики: они так нейтральны, что могли бы быть вообще где угодно. А высокая стоимость строительства помогает объяснить, почему ни один из этих проектов не был когда-либо принят, да и сам отказ Ле Корбюзье сделать хоть какую-нибудь уступку местным условиям, хоть как-то уважить местную гордость, мягко выражаясь, не способствовал его успеху.

Ле Корбюзье ненавидел физическую среду, которую создали столетия городской жизни. Это объяснялось путаницей, темнотой и беспорядком, переполненностью и тлетворностью Парижа и других европейских городов в начале XX в. Отчасти его презрение было, как мы увидим, обосновано функционально и научно: город, который хочет стать эффективным и здоровым, действительно должен уничтожить многое из того, что он унаследовал. Но были другой источник его презрения — эстетический. Его зрение оскорбляли беспорядок и путаница. Беспорядок, который он хотел исправить, был виден не столько на уровне земли, сколько с высоты птичьего полета[261]. Его смешанные побуждения прекрасно переданы в его рассуждениях о свойствах небольших сельских поселений, как они видны с воздуха (рис. 17). «С самолета мы видим землю разделенной на тысячи *несообразно* оформленных участков. Чем более современны работающие там машины, тем больше земли раздроблено в крошечные хозяйства, которые превращают в ничто удивительные возможности машин, здесь совершенно бесполезных. Результат пустой: неэффективное, индивидуальное царпанье»[262]. Совершенный формальный порядок был, по крайней мере, столь же важен, как приспособление к машинному веку. «Архитектура, — настаивал он, — превышает других является искусством, она достигает состояния платонического величия, математического порядка, размышления, восприятия гармонии, которая лежит в эмоциональных отношениях»[263].

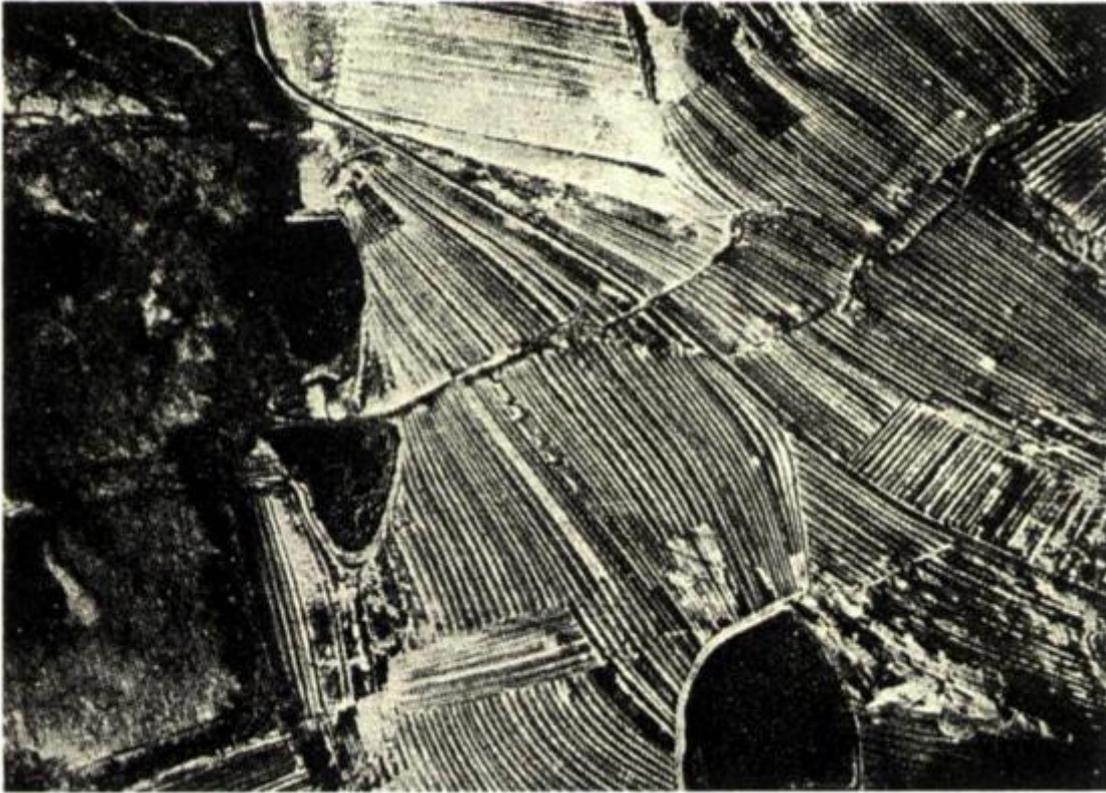


Рис. 17. Вид с воздуха на Альсаче, приблизительно 1930 г. Из книги Ле Корбюзье «Лучезарный город»

Формальная, геометрическая, простота и функциональная эффективность — это не две разные цели, которые нужно уравновесить; напротив, формальный порядок был для Ле Корбюзье предпосылкой функциональной эффективности. Он берет на себя задачу представления идеального индустриального города, в котором «общие истины», лежащие в основе века машин, были бы выражены с геометрической простотой. Суровость и единство этого идеального города требовали, чтобы он делал как можно меньше уступок истории существующих городов. «Мы даже в малом не должны уступать тому беспорядку, в котором мы находимся теперь, — писал он. — Там не может быть найдено никакого решения».

Его новый город должен был располагаться предпочтительно на расчищенном участке и иметь единую городскую композицию. Предлагаемый Ле Корбюзье городской порядок был лирическим союзом декартовых чистых форм и неумолимых требований машин. В характерно претенциозных выражениях он объявлял: «Мы требуем от имени парохода, самолета и автомобиля право на здоровье, логику, смелость, гармонию, совершенствование»[264]. В отличие от ныне существующего Парижа, который, как ему казалось, походил на «дикобраза» и «видение дантовского ада», его город будет «организован, спокоен, полон сил, полон воздуха, упорядочен в целом»[265].

Геометрия и стандартизация

Нельзя читать Ле Корбюзье или смотреть его архитектурные рисунки и не заметить его любовь (манию?) к простым, повторяющимся линиям и страх сложности. Он как будто

принял на себя личное обязательство применять только строгие линии, представляя его как необходимое свойство человеческой природы. Говоря его собственными словами, «бесконечность комбинаций становится возможной, когда соединяются неисчислимость и разнообразие элементов. Но человеческий ум теряется и утомляется в таком лабиринте возможностей. Контроль становится невыносимым. Нескончаемая духовная усталость приводит в уныние... Причина этого... — непокоренная прямая линия. Таким образом, чтобы спасти себя от этого Хаоса, чтобы обеспечить свое существование терпимой, приемлемой структурой, единственно продуктивной для человеческого благосостояния и контроля, человек положил законы природы в основание единственной системы, в которой проявляется величие человеческого духа, — в геометрию»[266].

Посетив Нью-Йорк, Ле Корбюзье был пленен геометрической логикой центра города, Манхэттена. Ему понравились ясность того, что он назвал «небоскребными машинами», и план улиц: «Улицы сходятся под прямыми углами друг к другу, и ум свободен»[267]. В Париже Ле Корбюзье сказал, что он понимает критику тех, кто предаётся ностальгии по разнообразию ныне существующих городов. Люди могут утверждать, отметил он, что в действительности улицы пересекаются под любыми углами и что число изменений бесконечно. «Но на этом я стою. *Я устраняю все эти вещи. Это — моя отправная точка... Я настаиваю на прямоугольных пересечениях*»[268].

Ле Корбюзье нравилось обосновывать свою любовь к прямым линиям и прямым углам властью машин, науки и природы. Но ни блеск его проектов, ни жар его полемики не смогли преуспеть в оправдании этого поворота. Машины, которые он больше всего обожал: локомотив, самолет и автомобиль — являются воплощением круглых или эллиптических форм, а не прямых углов (слезинка — самая простая из форм). Что касается науки, то геометрической является любая форма: трапеция, треугольник, круг. Если критерием были видимая простота и эффективность, почему бы не предпочесть круг или сферу как минимальную поверхность, заключающую максимум пространства, квадрату или прямоугольнику? Природа, как и утверждал Ле Корбюзье, могла быть математической, но сложной, запутанной — «хаотическая» логика живой формы только недавно была понята с помощью компьютеров[269]. Нет, большой архитектор выражал не больше и не меньше, как эстетическую идеологию — сильное пристрастие к классическим линиям, которые он считал «галльскими»: «возвышенные прямые линии, и о, возвышенная французская суровость»[270]. Это был *единственный* мощный способ организации пространства. Более того, он обеспечил четкую сетку, которую можно было легко усвоить и повторять в каждом направлении до бесконечности. На деле, конечно, прямая линия часто была непрактична и разрушительно дорога. В неровной местности построение прямых, ровных улиц требовало выравнивания подъёмов и спусков, а это заставляло производить немало земляных работ. Та геометрия, которую предпочитал Ле Корбюзье, редко бывала эффективной по затратам.

Его утопические схемы абстрактных линейных городов имели внушительную длину. Он предвидел, что индустриализация строительства приведет к долгожданной стандартизации. Он предвидел также изготовление заводским способом жилых и офисных блоков, которые затем собирались на строительных площадках. Размеры всех элементов были бы стандартизованы, определено некоторое число стандартных размеров, учитывающих возможность уникальных комбинаций, созданных архитектором. Дверные

рамы, окна, кирпичи, плитки крыши и даже винты — все соответствовало бы одному и тому же коду. Первый манифест CIAM в 1928 г. призвал Лигу Наций узаконить новые стандарты и разработать универсальный технический язык, обязательный для преподавания во всем мире. Международное соглашение «нормализовало» бы различные стандартные размеры для внутреннего оборудования и приспособлений[271]. Ле Корбюзье сам предпринял усилия, чтобы применить на практике то, что он проповедовал. Своим проектом гигантского Дворца Советов (так, кстати, и непостроенного) он хотел обратиться к советскому высокому модернизму. Здание, говорил он, установит точные и универсальные новые стандарты для всех построек — стандарты, которые включали бы освещение, отопление, вентиляцию, структуру и эстетику, и это будет иметь силу во всех широтах для всех надобностей[272].

Прямая линия, прямой угол и международные стандарты зданий — это были шаги в направлении упрощения. Однако самым решительным шагом в этом направлении была приверженность Ле Корбюзье к строгому функциональному разделению, которое он отстаивал всю жизнь. Показателен второй из четырнадцати принципов доктрины, которую он излагал в начале «Лучезарного города», а именно «смерть улицы». Под этим он понимал полное отделение движения пешеходов от движения машин и, кроме того, разделение медленных и скоростных транспортных средств. Он терпеть не мог смешения пешеходов и машин: и идущим неприятно, и транспорту мешает.

Принцип функциональной изоляции применялся наперекор всему. Написанный Ле Корбюзье и его братом Пьером заключительный доклад на второй конференции CIAM в 1929 г. начинался с нападения на традиционные методы строительства жилья: «Бедность, неадекватность традиционных методов приводят к путанице, *искусственному смешению функций*, не связанных друг с другом... Мы должны найти и применить новые методы... естественно приводящие к стандартизации, индустриализации, тейлоризации..., если мы упорствуем в существующих методах, в которых две функции [детали и строительство; циркуляция движения и структура] смешаны и взаимозависимы, тогда мы останемся цепенеть в той же неподвижности»[273].

Вне квартирного блока в основу планировки был положен принцип функциональной изоляции, ставший стандартной доктриной городской планировки до конца 60-х годов XX в. Предусматривались отдельные зоны для работы, жилья, для покупок и развлечений, для памятников и правительственных зданий. Где только было возможно, рабочие зоны должны были подразделяться дальше, например, в здания офиса и фабрики. Последовательность Ле Корбюзье, с которой он настаивал на плане города, где каждый район имел одну и только одну функцию, была очевидна в его первом же действии после того, как был принят проект Чандигарха, его единственного построенного города. На участке в 220 акров он заменил жилье, запланированное для городского центра, «акрополем памятников» и удалил его на большое расстояние от самого близкого жилья[274]. В Плане Voisin для Парижа он выделил так называемый La ville, который был предназначен для жилья, и деловой центр, предназначавшийся для работы. «Это две разные функции, последовательные, а не одновременные, представляющие две совершенно различные и совершенно отдельные области»[275].

Логика столь твердой изоляции функций совершенно ясна. Гораздо легче планировать городскую зону, если она имеет только одну цель. Гораздо легче планировать движение пешеходов, если их дороги не должны пересекаться с дорогами для автомобилей и поездов. Гораздо легче планировать лес, если твоя цель состоит в том, чтобы максимально увеличить урожай древесины мебельного сорта. Когда один и тот же план должен служить двум целям, это раздражает. Когда же нужно рассматривать несколько или много целей, число переменных, которыми должен оперировать планировщик, вызывает страх. Стоя в таком лабиринте возможностей, отмечает Ле Корбюзье, «человеческий ум теряется и утомляется».

Изоляция функций, таким образом, позволила планировщику с большей ясностью думать об эффективности. Если единственной функцией дороги является доставка автомобиля из пункта А в пункт В быстро и экономично, то можно сравнивать два плана дороги по относительной эффективности. Подобная логика довольно разумна, поскольку именно это мы и имеем в виду, когда строим дорогу от А к В. Заметим, однако, что такая ясность достигается заключением в скобки многих других целей, которым может служить дорога: она может предоставлять досуг туристам, создавать эстетическое впечатление, визуальный интерес или предоставлять возможности для перемещения тяжелых грузов. Даже в случае дорог узкие критерии эффективности не позволяют видеть другие, далеко не тривиальные цели. В случае же места, которое люди называют домом, узкие критерии эффективности приводят к значительно большему насилию над человеческими привычками. Ле Корбюзье вычисляет потребность людей в воздухе (*la respiration exacte*), тепле, свете и пространстве так, как это могло бы делать министерство здравоохранения. Начав с четырнадцати квадратных метров на человека, он далее заключает, что это число может быть уменьшено до десяти квадратных метров, если заготовка продуктов и стирка станут общественным делом. Но критерии эффективности, которые еще могут быть применены к дороге, вряд ли уместны для суждений о доме — дом используется как место работы, отдыха, доверительных встреч, общения, образования, готовки, сплетен, политики и т. д. Все эти действия не укладываются в критерий эффективности: когда в кухне кто-то готовится к встрече друзей, там происходит не просто «готовка еды». Однако логика эффективного планирования больших поселений сверху требует, чтобы каждая максимизируемая ценность была точно определена, и чтобы число одновременно максимизируемых ценностей было резко ограничено, предпочтительно сведено до одной-единственной[276]. Логика доктрины Ле Корбюзье состояла в следующем: найти возможность охарактеризовать использование и функцию каждого места в городе так, чтобы стали возможны методы специализированного планирования и стандартизация[277].

Правила для плана, планировщика и государства

Первым из «принципов урбанизма» Ле Корбюзье, даже прежде «смерти улицы», было изречение: «план — диктатор»[278]. Ле Корбюзье, подобно Декарту, считал процесс созидания города воплощением единственного рационально составленного плана. Он восхищался римскими лагерями и имперскими городами, их полным логики расположением. Он неоднократно возвращался к контрасту между существующим городом, который сложился исторически, и городом будущего, разработка которого от начала до конца была сознательно основана на научных принципах.

Централизация, требуемая в соответствии с представлениями Ле Корбюзье о роли Плана (всегда подчеркнутая в его исполнении), непосредственно выражается в способе организации города. Функциональная изоляция соединена с иерархичностью. Его город был «моноцефаличен»: расположенное в центре ядро выполняло «более высокие» функции столичной области. Вот как он описывал деловой центр своего плана Voisin для Парижа: «Из его офисов приходят команды, которые упорядочивают мир. Эти небоскребы — *мозг* города, *мозг целой страны*. Они воплощают планы и управление, от которых зависят все действия. Там сконцентрировано все: инструменты, побеждающие время и пространство, — телефоны, телеграфы, радио, банки, торговые дома, органы принятия решений для фабрик: финансы, технология, торговля»[279]. Деловой центр отдает команды; он ничего не предлагает и ни с кем не консультируется. Программа авторитарного высокого модернизма в работе здесь проистекает частично от любви Ле Корбюзье к промышленному порядку. Осуждая «гниль» (*la pourriture*) современного города, его зданий и его улиц, он выделяет фабричные постройки как единственное исключение. Там единая рациональная цель структурирует и физическое расположение зданий, и скоординированные движения сотен людей. Особенно он одобряет табачную фабрику Ван Нелла в Роттердаме. Ле Корбюзье восхищается ее строгостью, ее окнами от пола до потолка на каждом этаже, порядком в работе и очевидной удовлетворенностью работников. Он заканчивает ее описание гимном авторитарному порядку поточной линии. «Там есть иерархический масштаб, превосходно установленный и соблюдаемый, — восхищенно наблюдает он за рабочими. — Они принимают его, чтобы управлять собой подобно колонии рабочих пчел: порядок, регулярность, точность, справедливость и патернализм»[280]. Руководимый наукой городской планировщик должен проектировать и возводить города так, как инженер-предприниматель проектирует и строит фабрики. Единый мозг планирует город и фабрику, единый мозг направляет их деятельность — из офиса фабрики и из делового центра города. Иерархия на этом не останавливается. Город — мозг целого общества. «Великий город командует всем: миром, войной, работой»[281]. Во всех вопросах — одежды, философии, технологии или вкуса — столичный город доминирует над провинциями: линии влияния и команды исходят исключительно из центра на периферию[282].

Во взгляде Ле Корбюзье на то, как строятся властные отношения, нет никакой двусмысленности: иерархия преобладает во всех направлениях. На вершине пирамиды, однако, находится не капризный диктатор, а современный король-философ, который реализует политику научного понимания мира для блага всех[283]. И действительно, вполне естественно, что хозяин планирует, а в свои нередкие приступы мании величия он еще и воображает, что один имеет монополию на правду. В порядке личного самовыражения в «Лучезарном городе» Ле Корбюзье заявляет: «Я составил планы [для Алжира] после исследований, после вычислений, с воображением, с поэзией. Планы были необыкновенно правдивы. Они были неопровержимы. Они захватывали дух. Они выражали весь блеск нашего времени»[284]. То, что нас здесь интересует, не избыток гордости, но выражение непреклонной власти. Ле Корбюзье чувствует себя имеющим право требовать от имени универсальных научных истин. Его высокомодернистская вера нигде так совершенно или так угрожающе не выражена, как в следующем отрывке, который я процитирую подробно:

■

«Деспот — это не человек. Это — *План. Правильный, реалистический, точный план*, который один только в состоянии обеспечить решение вашей проблемы, план во всей полноте, в непрерывной гармонии, *составленный спокойными и светлыми умами вдали от криков ярости, в офисе мэра или ратуши, от воплей электората или lamentаций жертв общества*. Требуется учесть только общечеловеческие истины. Можно игнорировать весь поток текущих указаний, все существующие обычаи и каналы. Его не рассматривали или не он мог быть выполнен при действующей конституции. Он представляет собой живое создание, предназначенное для людей, способных реализовать его современными методами»[285].

Мудрость плана сметает с пути все социальные препятствия: избранные власти, избирателей, конституцию и юридическую структуру. Может показаться, что мы живем при диктатуре планировщика; по крайней мере, такое описание культа власти и беспощадности напоминает о фашистском режиме[286]. Но безотносительно к сравнениям Ле Корбюзье видит себя техническим гением и требует власти от имени своих истин. Технократия в этом случае является верой в то, что человеческие проблемы городского проектирования имеют уникальное решение, которое технический специалист способен найти и воплотить. Решать такие технические вопросы с помощью политики было бы неправильно. Когда есть единственный истинный ответ на все вопросы планирования современного города, никакие компромиссы не нужны[287].

В течение всей своей карьеры Ле Корбюзье ясно сознает, что для утверждения его радикального взгляда на городское планирование нужны авторитарные меры. «Нужен Кольбер», — заявляет он во французском издании ранней статьи, озаглавленной «На пути к машинному веку Парижа»[288]. На титульном листе его основной работы можно найти слова: «Эта работа посвящена Власти». Многие в карьере Ле Корбюзье как будущего гражданского архитектора указывает на поиски «Государя» (предпочтительно авторитарного толка), который призвал бы его на роль Кольбера. Он выставлял проекты для Лиги Наций, лоббировал советскую элиту, чтобы она приняла его новый план Москвы, делал все, что мог, чтобы его назначили руководителем планирования и зонирования для всей Франции и одобрили его план нового Алжира. Наконец, при покровительстве Джавахарлала Неру он построил провинциальную столицу Чандигарх в Индии. Хотя собственные политические взгляды Ле Корбюзье во Франции неколебимо стояли на якоре справа[289], было совершенно ясно, что он согласится на любую государственную власть, которая даст ему свободу действий. Он обращался скорее к логике, чем к политике, когда писал, «Однажды он [научный планировщик] кончит вычисления и тогда сможет сказать — и говорит: это должно быть так!»[290].

В Советском Союзе Ле Корбюзье очаровывала не столько идеология, сколько перспектива: революционное высокомодернистское государство могло оказать гостеприимство планировщику мечты. Построив здание Центрального союза потребительских кооперативов (Центросоюз)[291], он всего за шесть недель подготовил план — обширный проект перепланировки Москвы в соответствии с тем, что, как он думал, было советским стремлением создать новую жизнь в бесклассовом обществе. Посмотрев фильм Сергея

Эйзенштейна «Генеральная линия» о крестьянстве и технологии, Ле Корбюзье был весьма впечатлен видом тракторов, центрифуг для масла и огромных ферм. Он часто ссылался на это в своем плане разработки соответствующего преобразования городского пейзажа России.

Клевреты Сталина нашли его планы Москвы, как и его проект Дворца Советов, слишком радикальными[292]. Советский модернист Эль-Лисицкий напал на Москву Ле Корбюзье как на «город нигде, ... [город], который не является ни капиталистическим, ни пролетарским, ни социалистическим, ... город на бумаге, посторонний для живой природы, расположенный в пустыне, через который даже реке не позволено пройти (так как кривая противоречила бы стилю)»[293]. Как будто подтверждая обвинение Эль-Лисицкого в том, что он сделал «город нигде», Ле Корбюзье, практически не тронув свой проект, а только удалив все ссылки на Москву, представил его как *La ville radieuse*, подходящий для центра Парижа.

Город как утопический проект

Веря, что его революционные принципы городского планирования отражали универсальные научные истины, Ле Корбюзье, естественно, предполагал, что публика, однажды поняв эту логику, поймет и весь его план. Первый манифест CIAM содержал призывы к преподаванию ученикам начальной школы элементарных принципов научного жилья: значимость солнечного света и свежего воздуха для здоровья; основы электричества, теплоты, света и звука; правильные принципы проектирования мебели и т. д. Это было предметом науки, а не вкуса; в результате такого обучения появилась бы в свое время и клиентура, достойная научного архитектора. Ученый-лесовод мог сразу идти работать в лес и формировать его по своему плану, научный архитектор должен был сначала воспитать новых потенциальных заказчиков, которые «свободно» выберут городскую жизнь, спланированную для них Ле Корбюзье.

Я думаю, что любой архитектор проектирует дома для того, чтобы люди в них были счастливы, а не страдали. Различие состоит лишь в том, как именно архитектор понимает счастье. Для Ле Корбюзье *«человеческое счастье уже существует — выраженное в числах, в математике, в должным образом рассчитанных проектах, в планах, на которых города уже можно видеть»*[294]. Он был уверен, во всяком случае он так говорил, что если его город будет рациональным выражением сознания машинного века, современный человек примет это всем сердцем[295].

Среди радостей жизни, предусмотренных для граждан города Ле Корбюзье, не было личной свободы и самостоятельности, логически переведенных в рациональный план: «Власть должна превратиться в патриархальную — во власть отца, заботящегося о своих детях.. Мы должны создать вместилища для второго рождения человечества. Свобода личности для каждого будет достигнута, когда будут организованы коллективные функции городского сообщества. Каждый человек будет жить в упорядоченном отношении к целому»[296]. В Плане Voisin для Парижа место каждого человека в большой городской иерархии пространственно закодировано. Элита бизнеса (*industrials*) будет жить в многоэтажных домах в центре города, а низшие слои — в маленьких домах с садом на окраине. Таким

образом, статус человека можно будет непосредственно вычислить по расстоянию от центра. Но, как и каждый работник хорошо управляемой фабрики, горожанин будет чувствовать «коллективную гордость» — как член команды, производящей совершенный продукт. «Рабочий, который делает только часть работы, понимает значимость своего труда; машины, которые заполняют фабрику, служат примером его власти и нужности, они делают его участником работы, совершенствования, к которой его простая душа никогда не смела стремиться»[297]. Ле Корбюзье, возможно, наиболее известен утверждением, что «дом — это машина для жилья», аналогично он представлял и запланированный город — как большую эффективную машину для жилья из многих плотно пригнанных частей. Поэтому он полагал, что жители его города с гордостью воспримут собственную скромную роль в работе этой благородной, научно спланированной городской машины.

Ле Корбюзье руководствовался собственным пониманием базовых потребностей своих сограждан — потребностей, которыми пренебрегали в существующих городах. По сути, он установил некие абстрактные требования, упростил человека до нескольких материальных физических параметров. Его схематический субъект нуждался в стольких-то квадратных метрах жилья для проживания, он потреблял столько-то свежего воздуха, столько-то солнечного света, столько-то пространства, столько-то необходимых услуг. Опираясь на эти цифры, он спроектировал город, который был действительно гораздо здоровее и функциональнее, чем переполненные трущобы, за разрушение которых он ратовал. Он говорил о «пунктуальном и точном дыхании», о различных формулах для определения оптимальных размеров квартир; он настоятельно предлагал создавать жилые небоскребы, чтобы иметь места для парковки и, главное, для эффективной циркуляции уличного движения.

Город Ле Корбюзье был разработан как цех для производства продукции. В этом контексте человеческие потребности были предусмотрены планировщиком с научной точки зрения. Он не допускал и мысли, что те, для кого он работает, могут сказать что-нибудь дельное по этому вопросу или что их потребности могут быть разнообразнее. Он так заботился об эффективности работы этой машины, что относился к посещению магазина и приготовлению пищи как к досадным помехам, от которых его клиенты будут освобождены централизованными службами вроде функционирующих в хорошо управляемом отеле[298]. Он почти ничего не сказал о социальных и культурных потребностях населения, хотя и выделял площади для социальных действий.

Как мы видели, высокий модернизм подразумевает отвержение прошлого в качестве модели достойной жизни и желание начать все с нуля. Чем утопичнее высокий модернизм, тем тщательней его критический анализ существующего общества. Некоторые из наиболее бранных пассажей «Лучезарного города» относятся к нищете, беспорядку, «гнили», «распаду», «пене» и «отбросам» тех городов, которые Ле Корбюзье хотел превзойти. Картины демонстрируемые им трущобы были названы «обносившимися» или в случае французской столицы «историческими — исторический и туберкулезный Париж». Он сожалел о наличии трущоб и людей, которых они создали. «Сколько из тех пяти миллионов [те, кто приехали из сельской местности, чтобы пробиться в городе] — просто труха под ногами, черный комок нищеты, неудачи, человеческого мусора?»[299].

К трущобам у него был двойной счет. Во-первых, они эстетически не соответствовали его стандартам дисциплины, цели и порядка. «Есть ли на свете, — спрашивал он риторически, — что-нибудь более жалкое, чем недисциплинированная толпа?» Природа, добавлял он, сама есть «вся дисциплина» и «сметет их прочь», даже если природа оперирует логикой «вопреки интересам человечества»[300]. Здесь он дал понять, что основатели современного города должны быть готовы действовать безжалостно. Вторая опасность трущоб состояла в том, что, будучи шумными, опасными, пыльными, темными и снедаемыми болезнями, они предоставляют кров тем, кто является потенциальной революционной угрозой. Он понял, как когда-то Хаусманн, что толпа и трущобы были и всегда будут препятствием для эффективной полицейской работы. Связывая Париж Людовика XIV с императорским Римом, Ле Корбюзье писал: «Из беспорядочной кучи лачуг, из глубин грязных логовищ (в Риме — городе цезарей — плебе жил в запутанном хаосе уменьшенного подобия перенаселенных небоскребов) иногда являлся горячий всплеск восстания; заговор замышлялся в *темных тайниках накопившегося хаоса, в котором был чрезвычайно труден любой вид полицейской деятельности...* Св. Павла из Тарсуса было невозможно арестовать, потому что он остался жить в трущобах, и слова его проповедей, подобно лесному пожару, распространялись от одного человека к другому»[301].

Если бы такой вопрос возник, потенциальные буржуазные покровители Ле Корбюзье и их представители могли быть уверенными, что его четкий, геометрический город облегчит полицейскую работу. Там, где Хаусманн модифицировал барочный абсолютистский город, Ле Корбюзье предложил полностью очистить палубы и заменить центр города Хаусманна одним зданием, построенным с учетом иерархии и необходимости контроля[302].

Учебник высокомодернистской архитектуры

Интеллектуальное влияние Ле Корбюзье на архитектуру далеко превосходило влияние фактически построенных им зданий. Даже Советский Союз не удовлетворил бы его широковежательные амбиции. Его анализу подлежали примеры, случаи из учебника, набор ключевых, часто утрированных элементов высокомодернистского планирования. Его приверженность к тому, что он называл «полная эффективность и полная рационализация» новой цивилизации века машин, была бескомпромиссной[303]. Хотя ему приходилось иметь дело с разными странами, его архитектура была универсальна. По словам Ле Корбюзье, это было «повсеместное городское планирование, универсальное городское планирование, тотальное городское планирование»[304]. Его планы Алжира, Парижа и Рио-де-Жанейро были представлены, как мы видели, в беспрецедентном масштабе. Ле Корбюзье, как и другие архитекторы его поколения, испытал влияние зрелища тотальной военной мобилизации в Первой мировой войне. «Давайте строить наши планы, — говорил он, — в масштабе событий XX в., планы столь же большие, как планы Сатаны[война]... Большие! Громадные!»[305]

Визуальный эстетический компонент был центральным в его смелых планах. Чистые, гладкие линии были чем-то таким, что он ассоциировал с абсолютной целенаправленностью машины. Он был романтичен во всем, что касалось красоты машины и ее творений. Дома, города, поселения должны были «появляться соответствующим образом оборудованными, блистательно новыми, с фабрики, из цеха, безупречными изделиями ровно жужжащих

машин»[306].

И наконец, законченность ультрамодернизму Ле Корбюзье придавал его отказ от традиций, истории, унаследованного вкуса. Уяснив происхождение транспортных пробок в современном Париже, он предостерегал против искушений реформирования. «Мы должны отказаться от малейшего рассмотрения того, *что это такое*: мы сейчас в замешательстве». Он подчеркнул, что «здесь мы не найдем никакого решения»[307]. Вместо этого, настаивал он, мы должны взять «чистый лист бумаги», «чистую скатерть» и все начать с нуля. Необоримое желание начать все с нуля привело его в СССР и к честлюбивым правителям развивающихся стран. Там, надеялся он, его не будут стеснять «до смешного маленькие участки», единственно доступные на Западе, где можно было делать лишь то, что он называл «*ортопедической архитектурой*»[308]. Города Запада, основанные так давно, их традиции, их интересы, их медленно работающие учреждения и сложные юридические структуры могли только сковывать мечты высокомодернистского Гулливера.

Бразилиа: высокомодернистский город построен — почти

“Города тоже верят, что они сработаны умом или удачей, но ни того, ни другого недостаточно, чтобы держать их стены.

Итало Кальвино. Невидимые города

Никакой утопический город не строится так, как его спроектировал пророк-архитектор. Так же, как ученому-лесоводу мешали капризы непредсказуемой природы и расхождение целей его нанимателей и тех, кто имел доступ к лесу, так и городской архитектор должен сражаться со вкусами и финансовыми средствами своих патронов, а также с сопротивлением строителей, рабочих и жителей. Но и в этом случае Бразилиа в наибольшей степени приближается к тому, что мы имеем в виду под высокомодернистским городом, ибо ее постройка более или менее приближается к принципам, изложенным Ле Корбюзье и CIAM. Воспользовавшись превосходной книгой Джеймса Холстона «Модернистский город: антропологический критический анализ Бразилиа»[309], можно проанализировать и логику плана Бразилиа, и степень его реализации. Оценка разницы между тем, что Бразилиа значила для тех, кто ее замыслил, с одной стороны, и ее обитателей, с другой, в свою очередь, проложит путь (здесь нет никакой преднамеренной игры слов) для радикального критического анализа Джейн Джекобс современного городского планирования.

Идея новой столицы в глубине страны предшествует даже независимости Бразилии[310]. Ее реализация была излюбленным намерением Жуселино Кубичека, популистского президента, бывшего на своем посту с 1956 до 1961 г., обещавшего бразильцам «пятьдесят лет прогресса в пять лет» и самоподдерживающийся в будущем экономический рост. В 1957 г. Оскар Нимейер, который был уже назван главным архитектором общественных зданий и опытных образцов жилья, организовал конкурс проектов, в котором первое место занял на основе очень приблизительных эскизов Лючио Коста. Замысел Косты — пока что только это, не больше — центр города, его «монументальную ось» определяли террасы, насыпанные в виде дуги, которую пересекала в центре прямая авеню, а границы города в плане представляли собой треугольник (рис. 18).

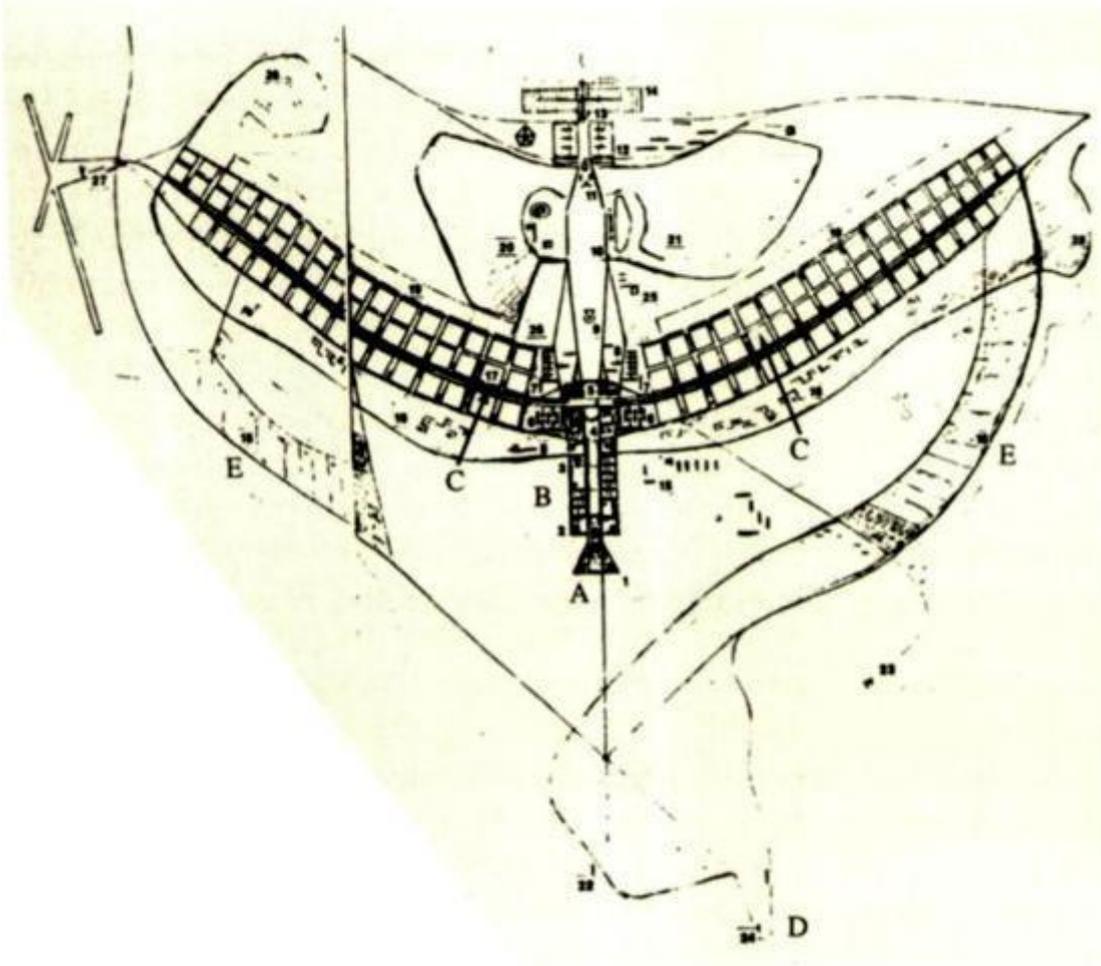


Рис. 18. План Косты 1957 г.: А — площадь трех ветвей власти; В — министерства; С — жилые зоны «суперквадра»; D — резиденция президента; E — жилье на одну семью

Оба архитектора работали по доктринам СИАМ и Ле Корбюзье. Нимейер, давний член бразильской компартии, находился еще и под влиянием советской версии архитектурного модернизма. После конкурса проектов практически немедленно началось строительство на пустом участке Центрального Плато в штате Гойас, почти в 1000 км от Рио-де-Жанейро и побережья и 1620 км на северо-восток от Тихого океана. Это был действительно новый город в дикой местности. Никакие «ортопедические» компромиссы теперь не были нужны: планировщики имели (благодаря Кубичеку, который сделал Бразилиа своим высшим приоритетом) «чистую скатерть». Всей землей на участке управляло государственное агентство, так что никаких владельцев частной собственности, с которыми бы надо было вести переговоры, не было. Затем город был спроектирован от основания по детально разработанному и унифицированному плану. Жилье, работа, отдых, перемещение и государственная служба были пространственно отделены друг от друга, как и настаивал Ле Корбюзье. Поскольку Бразилиа исполняла единственную функцию административной столицы, планирование очень упрощалось.

**Бразилиа как отрицание (или выход за пределы)
Бразилии**

Бразилиа, задуманная Кубичеком, Кобтой и Нимейером как город будущего, город развития, осуществленной утопии, не была связана привычками, традициями и занятиями прошлого Бразилии и ее больших городов: Сан-Паулу, Сан-Сальвадора и Рио-де-Жанейро. Как бы подчеркивая это, Кубичек назвал свою собственную резиденцию в Бразилиа «Дворец рассвета». «Чем еще может быть Бразилиа, — спрашивал он, — если не рассветом нового дня для Бразилии?»[311] Подобно Санкт-Петербургу Петра Великого, Бразилиа должна была стать образцовым городом, центром, который преобразует жизни бразильцев, проживающих там, — от индивидуальных привычек до социальной организации работы и досуга. Цель создания новой столицы была еще и в том, чтобы выказать Бразилии и бразильцам презрение к тому, чем Бразилиа была до сих пор. Смысл новой столицы состоял в том, что она должна была служить контрастом испорченности, отсталости и невежеству прежней Бразилии.

Большой перекресток, ставший отправной точкой плана, интерпретировался по-разному: как символ креста Христова или лук амазонки. Коста, однако, называл его «монументальной осью» — тем самым термином, которым Ле Корбюзье имел обыкновение описывать центр многих своих городских планов. Но, даже если ось и представляла собой попытку как-то приспособить новую столицу к национальной традиции, эта столица осталась городом, который мог быть расположен где угодно, который не давал никакого ключа к его собственной истории, если только не считать историей модернистскую доктрину CIAM. Это был город, навязанный государством, изобретенный для демонстрации новой Бразилии ее населению и миру в целом. Был еще один смысл в строительстве этого навязанного государством города: он был предназначен для государственных служащих. Многие аспекты жизни, которую в ином случае можно было оставить частной сфере, были тщательно организованы: от внутренних проблем жилья до медицинского обслуживания, образования, охраны детства, отдыха, торговли и т. д.

Если Бразилиа должна была стать будущим городов страны, что же тогда было их прошлыми настоящим? Что именно должна была отрицать новая столица? Большая часть ответа может быть выведена из второго принципа урбанизма Ле Корбюзье — «смерть улицы». Бразилиа была предназначена уничтожить улицу и площадь как места общественной жизни. Уничтожение привязанности к своему месту жительства и состязаний между районами хотя и не планировалось, но все же, увы, произошли в новом городе.

Общественная площадь и переполненная «коридорная» улица были местом встреч и гражданской жизни в городах Бразилии начиная с колониальных времен. Как объясняет Холстон, гражданская жизнь имела две формы. Первая, проходившая при поддержке церкви или государства, включала церемониальные и патриотические процессии и ритуалы, обычно проводившиеся на главной площади города[312]. Вторая форма затрагивала почти неистощимый диапазон человеческого использования городских площадей. Там могли играть дети, взрослые могли делать покупки, прогуливаться и знакомиться, встречаться с друзьями, есть или пить кофе, играть в карты или шахматы, на людей смотреть и себя показывать. Дело в том, что площадь как естественное место слияния улиц стала тем, что Холстон очень точно называет «общественной гостиной»[313]. Площадь доступна всем социальным классам и подходит для самых разных видов действий, которые она вмещает, как и полагается общественному месту. Площадь — гибкое место, которое позволяет всем

желающим использовать ее для *своих* целей, иногда даже несмотря на запреты государства. Площадь или центральная улица привлекают толпу, потому что люди оживляют подмостки сцены — сцены, на которой одновременно происходят тысячи незапланированных, неофициальных, импровизированных действий. Улица была пространственным средоточием социальной жизни, выводящим ее за пределы обычно тесного семейного жилья[314]. Выражение «я иду в центр» означало «я иду на улицу». Как центры общения, эти места были также важны для формирования общественного мнения и национального чувства, которое принимало институциональную форму во встречах спортивных команд, концертах, празднованиях святого покровителя, фестивалях групп и т. д. Само собой разумеется, что улица или площадь при соответствующих обстоятельствах могла стать местом общественных демонстраций и бунтов, направленных против государства.

Беглый взгляд на картинки Бразилиа, втискиваемой в городскую Бразилию, которую мы только что описали, сразу показывает радикальность происшедшего преобразования. Нет больше никаких улиц в смысле мест для публичных собраний, есть только дороги и шоссе, которые можно использовать исключительно для передвижения с помощью транспортных средств (ср. рис. 19 и 20).

Есть и площадь. Но что это за место! Обширная, монументальная площадь Трех ветвей власти, расположенная рядом с эспланадой министерств, велика даже для военного парада (ср. рис. 21 и 22, а также рис. 23 и 24). По сравнению с ней площадь Тяньаньмынь и Красная площадь камерны и интимны. Она, как и многие из планов Ле Корбюзье, лучше видна с воздуха (как на рис. 24). Если бы кто-то договорился встретиться там с другом, это было бы все равно, что назначить свидание в центре пустыни Гоби. И если бы вы все-таки встретились там с другом, вам совершенно нечего было бы там делать. Функциональное упрощение требует, чтобы эта площадь не стала публичной гостиной. Такая площадь — символический центр государства; единственная дозволенная деятельность на ней — работа министерств. Если раньше жизнеспособность площади зависела от сочетания жилья, торговли и администрации в зоне ее влияния, то теперь министерские чиновники должны по окончании работы уезжать к месту своего жительства и лишь там посещать коммерческий центр.



Рис. 19. Улица жилого района Барра Фундо, Сан-Паулу, 1988



Рис. 20. Шоссе 1.1 в жилом районе Бразилиа, 1980



Рис. 21. Марго до Полуриньо, где расположены городской музей и бывший рынок рабов, Сан-Сальвадор, 1980



Рис. 22. Площадь Трех ветвей власти с городским музеем и дворцом Планальто, Бразилиа, 1980



Рис. 23. Прага де Се, Сан-Паулу, 1984 г.



Рис. 24. Площадь Трех ветвей власти и эспланада министерств, Бразилиа, 1981 г.

Одна поразительная особенность городского пейзажа Бразилиа — официально обозначены фактически все общественные места в городе: стадион, театр, концертный зал, рестораны. Маленькие, неструктурированные, официально не запланированные общественные места —

кафе на тротуарах, углы улиц, небольшие скверы, площади внутри округа — не существуют. Как ни парадоксально, город имеет номинально много свободного пространства, это всегда предусмотрено городскими планами у Ле Корбюзье. Но это пространство оказывается «мертвым», как это и случилось с площадью Трех ветвей власти. Объясняя это, Холстон показывает, как в соответствии с доктринами CIAM создаются архитектурные массы, разделенные большими пустотами, так что отношение площади застроенной земли к незастроенной обратно тому, что обычно бывает в старых городах. Учитывая стереотипы нашего восприятия, эти пустоты модернистского города кажутся не пространством, в котором могут находиться люди, а безграничной пустыней, в которой люди избегают оставаться[315]. Можно сказать, что план как бы учитывает и запрещает все те места, где можно случайно столкнуться друг с другом, где спонтанно может собраться толпа.

Пространственная и функциональная изоляция приводили к тому, что встретиться с кем-нибудь можно было только в плановом порядке.

Коста и Нимейер убирали из утопического города не только улицы и площади. Они думали, что ликвидируют и переполненные трущобы с их темнотой, болезнями, преступлениями, загрязнением, пробками, шумом и плохим коммунальным обслуживанием. Есть определенные преимущества в том, чтобы начинать с пустого, выровненного бульдозерами участка, принадлежащего государству. По крайней мере, можно обойти проблемы спекуляции землей, взимания арендной платы и неравенства в собственности, которые так докучают большинству архитекторов. У Ле Корбюзье, как и у Хаусманна, тоже были эмансипационные намерения. В проект вошло лучшее, самое современное архитектурное знание о санитарных нормах, образовании, здоровье и отдыхе. Двадцать пять квадратных метров зеленых насаждений на жителя соответствовали разработанному ЮНЕСКО идеалу. И, как это бывает с любым утопическим планом, проект Бразилиа отразил социальные и политические пристрастия тех, кто им занимался, и их покровителя Кубичека. Все жители должны были иметь одинаковое жилье; единственным различием могло служить число отведенных единиц этого жилья. Следуя планам прогрессивных европейских и советских архитекторов, чтобы содействовать развитию коллективной жизни, архитекторы Бразилиа сгруппировали жилые дома в то, что получило название «суперквадра». Суперквадра — приблизительно 360 квартир, в которых помещалось 1500—2500 жителей — имела свою начальную школу и детский сад; на каждые четыре суперквадра полагалась средняя школа, кинотеатр, клуб, спортивные комплексы и торговые точки.

Практически все потребности будущих жителей Бразилиа были отражены в плане. Только потребности эти были те самые абстрактные, схематические, которые учитывал в своих планах Ле Корбюзье. Хотя это было, конечно, рационально, здорово, довольно эгалитарно, государство, планируя и создавая город, не делало никакой, даже самой маленькой уступки желаниям, истории и традициям ее жителей. В некоторых важных аспектах Бразилиа по отношению к Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро была тем же, чем было научное лесоводство по отношению к естественному лесу. Оба плана намечают чрезвычайно четкие, плановые упрощения, созданные, чтобы наладить эффективный порядок, который может быть проверен и управляем сверху. Оба плана, как мы увидим, потерпели неудачу. Наконец, оба плана так меняют город (и лес), чтобы он соответствовал простой сетке планировщика.

Жизнь в Бразилиа

Большинство тех, кто переехал в Бразилиа из других городов, были поражены, обнаружив, «что это — город без людей». Люди жаловались, что в Бразилиа нет суматохи уличной жизни, нет ни одного из уличных углов и длинных витрин магазинов, которые так оживляют тротуары для пешеходов. Для них, первых жителей Бразилиа, а не архитекторов города, фактически получалось, что планирование мешало городу. Наиболее общим образом они выражают это впечатление словами, говоря, что в Бразилиа «мало уличных углов», подразумевая под этим, что в ней недостает сложных пересечений таких окрестностей, где есть и жилье, и кафе, и рестораны с площадками для выступления, где можно работать и делать покупки. Хотя в Бразилиа хорошо обеспечиваются некоторые житейские потребности, функциональное удаление работы от места жительства, торговли и развлечений, большие пустоты между суперквадра и системой дорог, заполненной исключительно автомобильным движением, делают исчезновение уличных углов неизбежными. План дорог устранил пробки, но он также устранил долгожданные и приятные встречи пешеходов, которые один из информаторов Холстона назвал «точками компанейства»[316].

Термин *brasilite*, означая приблизительно *Brasil (ia) -itis*, введенный в обиход жителями первого поколения, хорошо выражает психическую травму, которую они испытали[317]. Намекая на соответствующее клиническое состояние, он означает осуждение стандартизации и анонимности жизни в Бразилиа. «Они используют термин *brasilite*, имея в виду свое отношение к здешней повседневной жизни: без радости отвлечения, беседы, флирта, ритуалов — как обычно протекает жизнь в других бразильских городах»[318]. Встретиться с кем-то можно дома или на работе. Даже если учитывать основную упрощающую предпосылку, что Бразилиа — административный город, тем не менее существует анонимность, включенная в саму структуру столицы. Населению просто не хватает небольших доступных мест, где они могли бы посидеть и поговорить, как это было исторически в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Безусловно, у обитателей Бразилиа было мало времени, чтобы изменить город своими привычками, но и сам город упорно сопротивлялся их усилиям[319].

Brasilite как термин также подчеркивает, как специально выстроенная окружающая среда воздействует на живущих в этом городе. По сравнению с Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу с их яркостью и разнообразием повседневное течение жизни в вежливой, однообразной, строгой Бразилиа, похоже на пребывание в резервуаре сенсорной депривации. Рецепт высокомодернистского городского планирования, возможно, обеспечил формальный порядок и функциональную изоляцию, но сделал это за счет сенсорно обедненной монотонной окружающей среды, которая неизбежно влияла на настроение жителей.



Рис. 25. Жилая зона на улице Тирадентес в Оуро-Прету, 1980 г.

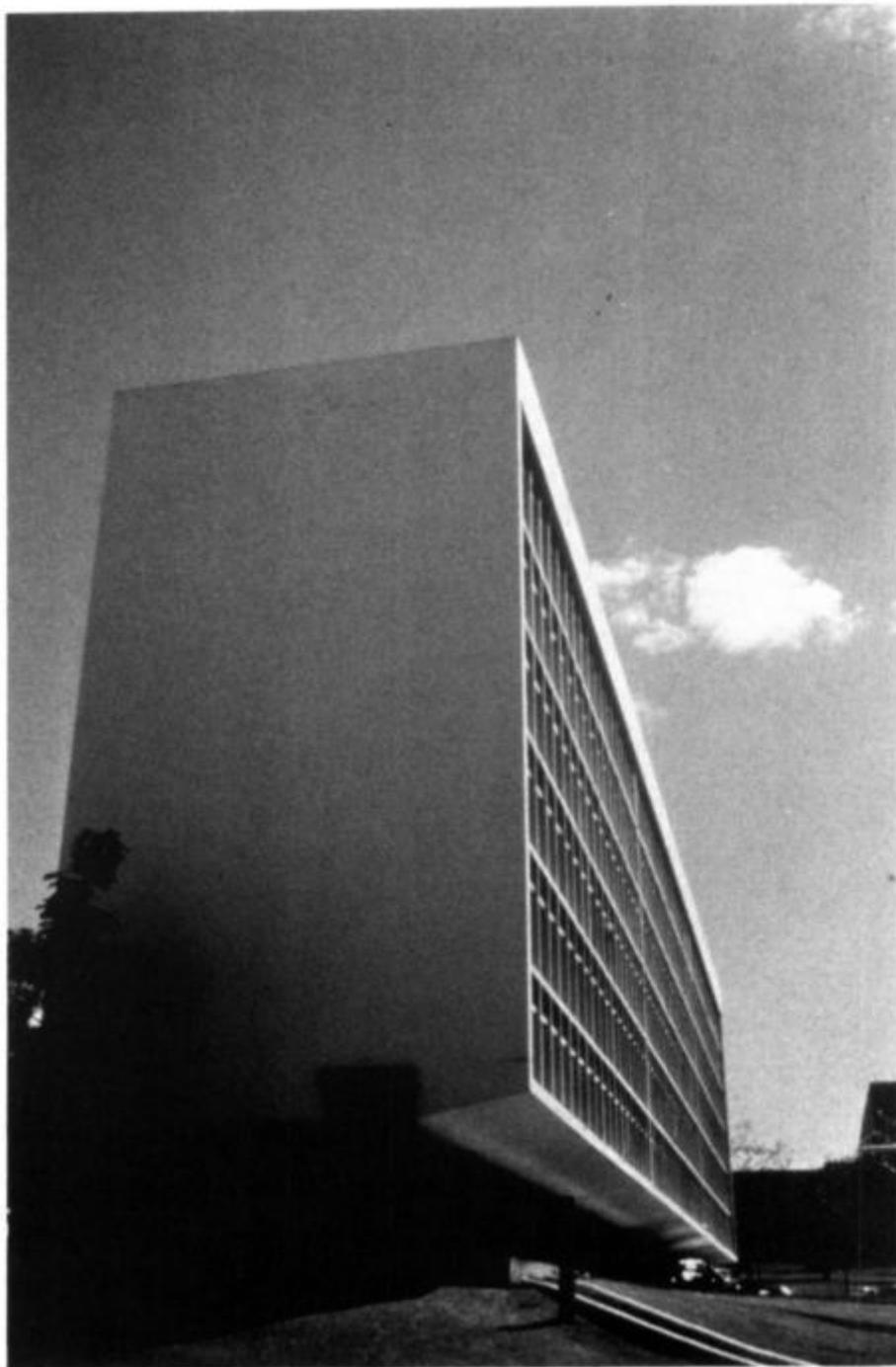


Рис. 26. Блок суперквадра в Бразилиа, 1980 г.

Анонимность, в которой вынужден жить каждый житель Бразилиа, очевидна уже из внешнего вида квартир, которые обычно составляют каждую жилую суперквадру (ср. рис. 25 и 26). Две наиболее частые жалобы жителей суперквадры — сходство квартир и изоляция мест жительства («в Бразилиа есть только дом и работа»)[320]. Строго геометрические фасады всех блоков одинаковы. Внешне нельзя отличить одну квартиру от другой; нет даже балконов, которые позволили бы жителям придать им какие-то отличительные черты и создать полуобщественные места. Отчасти эта дезориентация является результатом того, что местожительство, особенно такая его форма, не отвечает глубинным представлениям о доме как таковом. Холетон попросил целый класс девятилетних детей, большинство

которых жили в суперквадра, нарисовать «дом». Ни один не изобразил дом, в котором жил. Вместо этого все рисовали традиционный отдельно стоящий дом с окнами, дверью по центру и наклонной крышей[321]. Блоки суперквадра сопротивляются индивидуальности, а их внешний вид, в частности, стеклянные стены, находится в противоречии с самим смыслом частного пространства дома[322]. Увлеченные общим эстетическим планом архитекторы стирали не только внешние различия статуса жителей, но и многое из той визуальной игры, которую создают различия. Общий проект города препятствует независимой общественной жизни, а проект городского жилья — индивидуальной жизни.

Бразилиа дезориентирует архитектурным повторением и однообразием. Это как раз тот случай, когда видимые глазом рациональность и четкость для тех, кто работает в администрации и городских службах, создают мистифицирующий беспорядок для обычных жителей, которые должны перемещаться по этому городу. В Бразилиа очень мало видимых ориентиров. Каждый торговый квартал или группа суперквадра выглядят так же, как любые другие. Секторы города обозначены сложным набором акронимов и сокращений, и эту глобальную логику центра почти невозможно понять владельцу. Холстон обращает внимание на полное иронии несоответствие между макропорядком и микробеспорядком: «Таким образом, хотя общая топология города производит впечатление необычайно четкого понимания абстрактного плана, практическое знание города уменьшается от наложения этой систематической рациональности»[323]. С точки зрения планировщиков утопического города, чья цель — изменить мир, а не приспособить его для жилья, шок и дезориентация, причиняемая жизнью в Бразилиа, возможно, составляют часть ее дидактической цели. Город, который просто потворствовал бы существующим вкусам и привычкам, не соответствовал бы своей утопической цели.

Незапланированная Бразилиа

С самого начала Бразилиа оказалась построенной не так, как было запланировано. Ее строители проектировали новую Бразилию и новых бразильцев — организованных, современных, эффективных, дисциплинированных.

Бразильцы того времени с их индивидуальными интересами и намерениями только мешали строителям. Так или иначе предполагалось, что более 60 тыс. рабочих построят город, а затем спокойно оставят его администраторам для тех, кому он предназначен. Кубичек был заинтересован в скорейшем окончании строительства, поэтому работы шли настолько быстро, насколько возможно. Хотя большинство чернорабочих обычно работало сверхурочно, их число так быстро росло, что для всех не хватало временного жилья, приготовленного для них в том, что называлось свободным городом. Они скоро оседали на прилегающей земле, на которой построили временные здания; в случаях, когда в Бразилиа мигрировали целые семейства (или занимались там сельским хозяйством), здания, которые они возводили, были иногда весьма основательны.

«Пионеры» Бразилиа собирательно назывались «bandeirantes XX в.», по аналогии с названием авантюристов, впервые проникших в глубь страны. Название звучало как комплимент, поскольку Бразилиа Кубичека тоже была символическим завоеванием внутреннего пространства страны нацией, которая исторически цеплялась за береговую

линию. Вначале, однако, чернорабочие, которые привлекались к строительству в Бразилиа, были бродягами, уничижительно называемыми *sandangos*. *Candango* был «человеком без качеств, без культуры, без дома, малообразованный, примитивный»[324]. Кубичек изменил все это. Он воспользовался строительством Бразилиа — а оно было, в конечном итоге, затеяно для преобразования Бразилии, чтобы превратить *sandangos* в героев-пролетариев новой нации. «Будущие толкователи бразильской цивилизации, — заявлял он, — должны поразиться бронзовой суровости этого анонимного титана, который называется *candango*, неясному и огромному герою строительства Бразилиа... Пока скептики смеялись над утопическим предназначением нового города, который я готовился строить, *sandangos* брали на себя ответственность»[325]. Заняв свое место в риторическом пространстве, *sandangos* добивались собственного места в утопическом городе. Они объединялись, чтобы защитить свою землю, требовали коммунальных услуг и правовой защиты. К 1980 г. 75% населения Бразилиа жило в поселениях, появления которых никто никогда не ожидал, в то время как в запланированном городе разместилось меньше половины проектируемого населения в 557 тыс. человек. Точкой опоры бедноты, собранной в Бразилиа, были не только благодеяния Кубичека и его жены, доны Сары. Ключевую роль также играла политическая структура. Поселенцы оказались способными мобилизоваться, протестовать и быть услышанными в разумно соревновательной политической системе. Ни Кубичек, ни другие политические деятели не могли упустить возможности вырастить политическую клиентуру, которая голосовала бы как единый блок.

Незапланированная Бразилиа, реально существующая столица весьма отличалась от первоначального замысла. Вместо бесклассового административного города получился город, характеризующийся абсолютным пространственным разделением согласно социальным классам. Бедные жили на окраинах и ежедневно покрывали большие расстояния до центра, где жили и работали многие из элиты. Многие из богатых также создавали собственные поселения с индивидуальными зданиями и частными клубами, копируя образ жизни, присущий другим местам Бразилии. Незапланированная Бразилиа — богатая и бедная — появились не случайно; можно сказать, что за видимость порядка и четкости в центре города пришлось платить внеплановой Бразилиа в окрестностях. Эти две Бразилиа не только различались, но и приносили взаимную пользу.

Радикальные преобразования столь большой и разнообразной нации, как Бразилии, трудно было даже представить, не говоря уже о том, чтобы провести их в 5-летний срок. Одни чувствовали, что Кубичек, подобно многим другим правителям, поначалу желавший большого будущего для всей своей страны, усомнился в возможности преобразования всей Бразилии и бразильцев и обратился к более реальной задаче — созданию с нуля утопического города. Построенный на новом участке, в новом месте, город создал бы преобразовательную физическую среду для новых жителей — среду, в которой скрупулезно учитывались последнее слово науки в области здоровья, эффективность и рациональный порядок. Поскольку город предполагалось строить по единому плану, земля находилась в собственности государства, все контракты, коммерческие лицензии и зонирование находились в руках государственного агентства (*Novacap*) — в общем, создавались благоприятные условия для успешной «утопической миниатюризации».

Имела ли Бразилиа успех в роли высокомодернистского утопического города? Если мы будем оценивать это степенью ее отличия от традиционных городов Бразилии, то ее успех был значителен. Если же оценивать ее способность преобразовать остальную часть Бразилии или вызвать любовь к новому образу жизни, то ее успех был минимален. Реальная Бразилиа в противоположность гипотетической, оставшейся на бумаге, сопротивлялась этому плану, опровергала его и имела свои политические расчеты.

Ле Корбюзье в Чандигархе

Так как Ле Корбюзье не проектировал Бразилиа, влияние его на неудачи этого строительства обусловлено только тем, что он писал когда-то в декларации. Однако существуют два соображения, оправдывающие его связь с Бразилиа. Во-первых, Бразилиа была честно построена согласно доктринам CIAM, разработанным главным образом Ле Корбюзье. Во-вторых, Ле Корбюзье фактически играл главную роль в проектировании другой столицы, в которой проявились в точности те же человеческие проблемы, с которыми столкнулись в Бразилиа.

Чандигарх, новая столица Пенджаба, был наполовину спроектирован, когда отвечавший за это архитектор Мэтью Новицки внезапно умер[326]. Неру, искавший преемника, пригласил Ле Корбюзье заканчивать проект и контролировать строительство. Выбор отвечал собственной высокомодернистской цели Неру — содействовать появлению современной технологии в новой столице, которая подчеркнула бы ценности новой индийской элиты[327]. Модификация Ле Корбюзье первоначального плана Новицки и Альберта Мейера была направлена на усиление монументализма и линейности. Вместо больших кривых Ле Корбюзье начертил прямолинейные оси. Центр столицы он расположил на монументальной оси, мало чем отличающейся от тех, что были в Бразилиа и в его плане Парижа[328]. Переполненные базары, вмещавшие так много товаров и людей в маленькое пространство, заменил огромными площадями, которые сегодня стоят почти пустые (рис. 27).



Рис. 27. Площадь (chowk или piazza), спроектированная Ле Корбюзье для центра Чандигарха

Учитывая, что в Индии пересечения дорог обычно служили местами, где собиралось много людей, Ле Корбюзье изменил масштаб и предусмотрел различные зоны, чтобы предотвратить возможность возникновения оживленных улиц. Как замечает один недавний наблюдатель, «на земле расстояние между улицами настолько большое, что человек видит только бетонированную площадку и несколько одиноких фигур здесь и там. Деятельность мелких уличных торговцев, лоточников или разносчиков в городском центре запрещена, так что даже этот источник интереса и активности, способный уменьшить бетонную скудость площади, не используется»[329].

Как и в Бразилиа, столица должна была преобразовать ту Индию, которая существовала до сих пор, и представить граждан Чандигарха, прежде всего администраторов, образом будущего. Как и в Бразилиа, результат оказался другим: незапланированный периферийный город, окрестности которого противоречат строгому порядку в центре.

Выступление против высокомодернистского урбанизма: Джейн Джекобс

В 1961 г. Джейн Джекобс в своей книге «Жизнь и смерть великих американских городов» выступила против засилия модернизма в функциональном городском планировании. Это был не первый случай критики высокомодернистского урбанизма, но, я уверен, наиболее тщательно проведенный и интеллектуально обоснованный критический анализ[330]. Как наиболее всесторонний вызов современным доктринам городского планирования, он спровоцировал дебаты, последствия которых чувствуются до сих пор. В результате приблизительно тремя десятилетиями позже многие из подходов Джекобс были включены в рабочие предложения о сегодняшнем городском планировании. Хотя то, что она назвала своим «нападением на нынешнее городское планирование и перестройку», относилось прежде всего к американским городам, в центре ее атаки находились доктрины Ле Корбюзье, применяемые здесь и за границей.

В критическом анализе Джекобс замечателен и весьма показателен ее особый взгляд. Она начинает с улицы, рассматривает этнографию микропорядка в окрестностях, на тротуарах и перекрестках. Если Ле Корбюзье первоначально «видит» свой город с воздуха, Джекобс рассматривает его как пешеход, который ежедневно ходит по нему. Джекобс как политический активист принимала участие во многих кампаниях против предложений о зонировании, о строительстве дорог и жилья, которое ей не нравилось[331]. Трудно себе представить, чтобы радикальный критический анализ такого стиля мог когда-либо родиться внутри интеллектуального круга городских планировщиков[332]. Ее новый стиль повседневной социологии, связанный с проектами городов, был слишком далек от ортодоксальной рутины современных ей школ городского планирования[333]. Ее маргинальный критический анализ поможет подчеркнуть многие неудачи высокого модернизма.

Визуальный порядок против опытного

Самое важное в аргументах Джекобс состоит в том, что не существует необходимого соответствия между впечатлением правильности, которую создает геометрический порядок, с одной стороны, и системой, эффективно удовлетворяющей повседневные

потребности, с другой. Почему, спрашивает она, следует ожидать, чтобы хорошо функционирующие окружающие среды или разумные социальные мероприятия соответствовали визуальным понятиям упорядоченности и регулярности? Чтобы проиллюстрировать эту загадку, она ссылается на новый проект жилья в Восточном Гарлеме — прямоугольную лужайку, которая стала предметом осмеяния всех жителей. Она была просто оскорблением для тех, кого заставили жить среди незнакомцев, насильственно переселив туда, где невозможно получить газету или чашку кофе или позаимствовать 50 центов[334]. Как оказалось, видимый глазом порядок лужайки скрывает жестокий беспорядок.

Фундаментальная ошибка городских архитекторов, заявляет Джекобс, состоит в том, что они выводят функциональный порядок из физического расположения зданий, из их группирования по своим формам, т. е. из визуального порядка. Наиболее сложные системы вовсе не обладают видимой регулярностью; их порядок следует отыскивать на более глубоком уровне. «Чтобы видеть сложные системы *функционального* порядка именно как порядок, а не хаос, необходимо понимание. Листья, слетающие с деревьев осенью, двигатель самолета, внутренности кролика, редакция городской газеты — все это кажется хаосом, если смотреть на них без понимания. Если же понимать порядок этой системы, она выглядит совершенно по-другому». На этом уровне можно сказать, что Джекобс была «функционалисткой» (определение, использование которого было запрещено в студии Ле Корбюзье). Она ставит простой вопрос: какую функцию выполняет эта структура и насколько хорошо? «Порядок» вещи определен целью, ради которой она создана, а не эстетическим видом ее поверхности[335]. Ле Корбюзье, напротив, кажется, полагал, что наиболее эффективные формы *всегда* классически правильны и упорядочены. Спроектированные и построенные Ле Корбюзье физические среды имели, как и Бразилиа, полную гармонию и простоту формы. Однако во многих важных отношениях они оказались неудовлетворительными как пространство для жизни и работы.

Именно эта сторона неудачи городских моделей планирования так занимала Джекобс. Представления городских архитекторов о порядке оказались не связанным ни с фактическими, экономическими или социальными функциями города, ни с индивидуальными потребностями его жителей. Их наиболее фундаментальной ошибкой было целиком эстетическое представление о порядке. Эта ошибка завела их и дальше — к жесткой изоляции функций. В их глазах смешанные использования зданий, скажем магазины, которые одновременно являются квартирами, маленькими мастерскими и ресторанами, создают своеобразный визуальный беспорядок и путаницу. Большое преимущество отдельных использований, например только для покупок или только для жилья, состояло в том, что оно делало возможным функциональную однородность и визуальное распределение, которое они искали. Конечно, значительно легче планировать область для единственного использования, чем для нескольких. Уменьшение числа использований и, следовательно, числа переменных, которыми нужно оперировать, позволяло объединить эстетический и визуальный порядок с целью отстоять доктрину единственного использования[336]. В этой связи приходит на ум сравнение двух армий: построенной для парада и воюющей с врагом. В первом случае — опрятный визуальный порядок, создаваемый подразделениями, стоящими по ранжиру, прямыми линиями. Но так можно только демонстрировать само наличие армии, а не ее обученность. Армия на войне,

по Джекобс, должна показать, что она умеет делать, чему обучена. Джекобс полагает, что ей известны корни этой склонности к абстрактному, геометрическому порядку, видимому сверху: «Косвенно через утопическую традицию и непосредственно через более реалистическую доктрину искусства наложения модернистское городское планирование с самого начала было обременено неразумной целью превращения городов в упорядоченные произведения искусства»[337].

Недавно, замечает Джекобс, статистические методы и способы ввода-вывода, доступные планировщикам, стали более изоощренными. Планировщиков поощряли на такие подвиги, как массовая расчистка трущоб — теперь, когда они могли рассчитать бюджет, определить материалы, пространство, энергию и потребности транспорта перестроенной области. Эти планы продолжали игнорировать социальные затраты перемещающихся семей, «как будто это были песчинки, электроны или бильярдные шары»[338]. Они тоже были основаны на печально известных шатких предположениях — они обращались со сложными системами, как будто их можно было упростить числовыми методами: например, посещение магазина превращается в математическую проблему, для решения которой надо знать только площадь, отведенную для магазина; управление движением выглядит как проблема перемещения некоторого числа транспортных средств в данное время в определенном числе улиц определенной ширины. Но эти проблемы были не только техническими, как мы увидим, реальные проблемы были значительно шире.

Функциональное превосходство разнообразия и сложности

Установление и поддержание социального порядка в больших городах, как мы имели возможность убедиться, довольно хлопотное дело. Взгляд Джекобс на социальный порядок одновременно тонок и поучителен. *Социальный* порядок не является результатом архитектурного порядка, создаваемого площадями, — сами площади его не создадут. Социальный порядок не вносится извне такими профессионалами, как полицейский, ночной сторож и государственный чиновник. Вместо этого, говорит Джекобс, «социальный мир тротуаров, улиц, городов... создается посредством запутанной, почти не осознанной сети добровольного управления и контроля поведения со стороны самих людей, и ими же и поддерживается». Необходимые условия безопасности улицы — ясное установление границ между общественным пространством и частным, и значительное число людей, которые контролируют это, смотрят на улицу («глаза на улицу») и в обратном направлении, будучи постоянно заняты какой-то полезной деятельностью[339]. В качестве примера области, где эти условия выполнены, она называет северную оконечность Бостона. Его улицы весь день заполнены пешеходами, потому что там очень много удобно расположенных магазинов, баров, ресторанов, пекарен и других подобных мест. Сюда люди приезжают делать покупки, прогуливаться и наблюдать, как другие делают то же самое. Владельцы магазина заинтересованы в том, чтобы следить за тротуаром: они знают многих людей по имени, они находятся там весь день, их бизнес зависит от оживленности окрестностей. Те, кто приехал с поручением или просто поесть и выпить, тоже смотрят на улицу; старики наблюдают за тем, что на ней происходит, из окон квартиры. Некоторые из пешеходов находятся в дружеских отношениях, а многие просто знакомы, узнают друг друга. Процесс этот

обоюдный. Чем более оживлена и занята своими делами улица, тем интереснее следить за ней со стороны; все эти зрители, которые хорошо знают окрестности, ведут наблюдение по своему желанию.

Джекобс припоминает случай, который произошел на аналогичной улице в Манхэттене, когда взрослый человек, похоже, заигрывал с восьми- или девятилетней девочкой, уговаривая ее пойти с ним. Пока Джекобс наблюдала это из окна второго этажа, задаваясь вопросом, что будет, если она вмешается, на тротуаре появилась жена мясника, владелец магазина деликатесов, хозяева двух баров, продавцы фруктов, владелец прачечной и еще несколько человек, открыто наблюдавших из окон арендуемых квартир и готовых предотвратить возможное похищение. Никакой служитель закона не появился, да в этом и не было необходимости[340].

Поучителен также другой случай неофициального городского порядка и неформальных услуг. Джекобс рассказывает, что в районе, где жила она с мужем, всегда можно было оставить ключи от квартиры у владельца магазина деликатесов, который для этого держал специальный ящик. Это было удобно и для них, и для тех, кто пользовался квартирой в отсутствие хозяев[341]. Она отмечает, что на каждой близлежащей улице смешанного использования кто-то всегда играл ту же самую роль: бакалейщик, владелец кондитерской, парикмахер, мясник, работник химчистки или владелец книжной лавки. Это — одна из многих общественных функций частного бизнеса[342]. Эти услуги — не результат какой-то глубокой дружбы; они оказываются потому, что люди нашли общий, по словам Джекобс, «язык тротуара». И такие услуги было бы совершенно невозможно обеспечить за счет какого-либо общественного института. При каких-либо столкновениях, не имея традиции обращения за помощью к чьей-либо личной репутации, что практикуется в маленьких сельских общинах, город полагается на достаточную большую плотность людей, установивших друг с другом язык тротуара, чтобы поддерживать общественный порядок. Сеть дружественных отношений и знакомств позволяет человеку использовать важные, часто не замечаемые социальные удобства. Для человека вполне естественно попросить кого-то сказать, что данное место занято, понаблюдать за ребенком, пока он посещает туалет, или последить за велосипедом, пока он покупает бутерброд.

Анализ Джекобс интересен своим вниманием к микросоциологии общественного порядка. Все, кто отвечает здесь за этот порядок — неспециалисты, их главное дело какое-то другое. Здесь нет никакой формальной общественной или добровольческой организации, следящей за порядком в городе: ни полиции, ни частной охраны, ни местной охраны порядка, никаких формальных встреч или должностных лиц — наблюдение за порядком внедрено в логику ежедневной практики. Более того, говорит Джекобс, формальные учреждения общественного порядка успешны *только* тогда, когда их поддерживает эта богатая, неофициальная общественная жизнь. Те места в городе, где только полиция поддерживает порядок, самые опасные. Джекобс признает, что каждый из этих маленьких обменов информацией в неофициальной общественной жизни: кивок, восхищение новорожденным младенцем, вопрос, где можно купить хорошие груши, — можно признать тривиальным. «Но сумма отнюдь не тривиальна, — настаивает она. — Все социальные контакты на местном уровне — большинство из них случайны, вызваны какими-то поручениями, но все они связаны с человеческой заинтересованностью друг в друге, они не сталкивают людей, а

рождают чувство их социальной идентичности, плетут ткань общественного уважения и доверия, и эта ткань порождает ресурсы своевременного удовлетворения личных потребностей или потребностей района. Именно отсутствие доверия и производит беспорядок на улицах города. Доверие нельзя специально вырастить. И, прежде всего, *она не подразумевает никаких частных обязательств*»[343]. Там, где Ле Корбюзье начинает с формального архитектурного порядка сверху, Джекобс начинает с неофициального социального порядка снизу.

Разнообразие, взаимная польза и сложность (социальная и архитектурная) — лозунги Джекобс. Смешивание мест жительства, покупок и работы делает пространство более привлекательным, более удобным и более желательным — это относится и к дорожному движению, отчего улицы, в свою очередь, становятся относительно безопасными. Вся логика разбираемых ею примеров связана с организацией больших групп людей, разнообразия и удобств, которые определяют такую обстановку, где люди хотят находиться. Кроме того, сильное дорожное движение в оживленном и красочном окружении экономически влияет на торговлю и ценность собственности, а это уже существенно. Популярность района и его экономический успех идут рука об руку. Обычно такие места привлекают виды деятельности, для которых большинство планировщиков специально выделило бы особое пространство. Дети предпочитают играть на тротуарах, а не в парках, специально для этого созданных, потому что тротуары безопаснее, богаче событиями и больше подходят для пользования удобствами, доступными в магазинах и дома[344]. Понять магнетический эффект занятой делами улицы не труднее, чем понять, почему кухня — самая деловая комната в доме. Это наиболее универсальное место — место съестных припасов и спиртных напитков, место приготовления пищи, а, следовательно, место социализации и обмена[345].

Каковы условия этого разнообразия? Наиболее важен тот факт, что в районе сочетаются различные возможности, утверждает Джекобс. Далее, улицы и кварталы должны быть короткими, чтобы своей длиной не создавать препятствий пешеходам и торговле[346]. Здания должны иметь (в идеале) разный возраст и состояние, чтобы можно было взимать различную арендную плату и, соответственно, различным образом использовать их. Неудивительно, что каждое из этих условий нарушает одно или больше рабочих предположений ортодоксальных городских планировщиков наших дней: районы с единственным использованием, длинные улицы, архитектурное единообразие. Сочетание первичных использований, объясняет Джекобс, влекут за собой разнообразие и плотность людских потоков.

Возьмем, например, ресторанчик, скажем, в финансовом районе Уолл-Стрита. Такой ресторан получает всю свою прибыль между 10 часами утра и 3 пополудни — время, когда у работников офисов бывают утренние перерывы на кофе и на завтрак, а потом они покинут эту улицу и поедут домой. А в районе смешанного использования клиенты могут посещать ресторан в течение всего дня и вечером. Он может оставаться открытым в течение большего количества часов, принося пользу не только собственному бизнесу, но и бизнесу расположенных поблизости специализированных магазинов, которые едва ли могли выжить в районе с единственным использованием, но в области смешанного использования станут действующими предприятиями. Самый беспорядок действий, зданий и людей — очевидный

беспорядок, который оскорбил бы эстетический взор планировщика — был для Джекобс признаком динамической жизнеспособности: «Запутанные смешения различных видов использований — не хаос. Напротив, они представляют комплексную и высокоразвитую форму порядка»[347].

Джекобс весьма убедительно выступает в пользу смешанного использования и сложности, исследуя под микроскопом происхождение общественной безопасности, гражданского доверия, визуального интереса и удобства, но есть и еще более сильный аргумент за взаимопомощь и разнообразие. Подобно естественному лесу, окрестности с разными магазинами, центрами развлечения, услуг, различного жилья и общественных мест по определению более жизнеспособны. Разнообразие коммерческих предложений (от ритуальных услуг и коммунального обслуживания до магазинов и баров) делает район менее уязвимым к экономическим спадам, одновременно обеспечивая много возможностей для экономического роста во время подъемов. Подобно монокультурным лесам, районы, специализированные на одной цели, оказываются особенно восприимчивыми к стрессу, хотя и могут сначала «поймать бум». Разнообразные окрестности более жизнеспособны.

Я думаю, что «женский глаз» — за отсутствием лучшего термина — был необходим для того стиля, в котором представлены рекомендации Джекобс. Многие специалисты были проницательными критиками высокомодернистского городского планирования, и Джекобс ссылается на их работы. Однако трудно представить ее аргументацию в устах мужчины. Несколько элементов ее критического анализа укрепляют это впечатление. Прежде всего, ее городской опыт гораздо шире, чем ежедневные походы на работу и с работы и приобретение товаров и услуг. Глаза, которыми она смотрит на улицу, замечают покупателей, матерей с колясками, играющих детей, друзей, пьющих кофе или перекусывающих, прогуливающихся влюбленных, людей, смотрящих в окно, владельцев магазинов, обслуживаемых клиентов, стариков, сидящих на скамейках парка[348]. Работа тоже учитывается ею, но в основном ее внимание приковано к тому, что происходит на улице ежедневно, как оно проявляется вокруг и вне работы. Она занята общественными местами, внутренние же помещения дома и офиса, как и фабрика, ее не интересуют. Действия, за которыми она так тщательно наблюдает, от прогулки до покупок, не имеют одной-единственной цели или вовсе не имеют никакой сознательной цели в узком смысле слова.

Сравните этот взгляд с тем, что демонстрирует большинство ключевых элементов высокомодернистского городского планирования. Эти планы основаны на упрощающем предположении, что человеческая деятельность всегда направлена к четко определенной и единственной в данный момент цели. В ортодоксальном планировании такие упрощения лежат в основе строгой функциональной изоляции мест работы от постоянного проживания и их обоих от мест торговли. У Ле Корбюзье и его последователей остается единственная проблема: как перевозить людей (обычно в автомобилях) быстрее и экономичнее. Посещение магазина превращается в вопрос обеспечения соответствующей площади, доступа к ней некоторого числа покупателей и товаров. Даже развлечения раздроблены на специфические действия и выделены в детские площадки, спортивные залы, театры и т. п.

Таким образом, именно так называемый женский глаз Джекобс позволяет понять, что человек многое делает (включая, безусловно, работу), преследуя не одну какую-то цель, а более широкий и неопределенный диапазон целей. Дружеский ланч с коллегами может быть наиболее существенной частью дня для работающего человека. Матери, гуляющие с коляской, могут одновременно общаться с друзьями, выполнять поручения, перекусывать и искать книгу в местном книжном магазине или библиотеке. В ходе этих действий другая «цель» может возникать нечаянно. Мужчина или женщина, едущие на работу, не просто едут на работу. Они могут рассматривать пейзаж, обсуждать свои дружеские отношения или привлекательность кафе около автомобильной стоянки. Сама Джекобс, чрезвычайно одаренная «взглядом на улицу», обнаружила большое разнообразие человеческих целей, заключенных в любой деятельности. Цель города состоит в том, чтобы поощрять и умножать это богатое разнообразие, а не мешать ему. И то, что городские планировщики никогда не умели делать так, как она предлагала, имеет некоторое отношение к различию мужского и женского начала[349].

Авторитарное планирование как превращение города в чучело

Для Джекобс город — социальный организм, живая структура, которая постоянно изменяется и в которой постоянно появляются неожиданные возможности. Его взаимосвязи настолько сложны и плохо поняты, что планировщик всегда рискует нечаянно урезать его живую ткань, тем самым нарушая живые социальные процессы или даже разрушая их. Она противопоставляет «искусство» планировщика нормальному ходу повседневной жизни: «*город не может быть произведением искусства... Искусство выражает реальное содержание буквально бесконечно запутанной жизни произвольно, символически и абстрактно. В этом его ценность и источник собственного порядка и последовательности... Результаты глубокого расхождения между искусством и жизнью не являются ни жизнью, ни искусством. Это — таксидермия, набивка чучел. На своем месте набивка чучел может быть полезным и приличным ремеслом. Однако, когда образцы этого ремесла помещают на выставках, чтобы продемонстрировать мертвые чучела городов, это заходит слишком далеко*»[350]. Сущность выступления Джекобс против современного городского планирования состоит в том, что это планирование накладывает статическую сетку на множество непостижимых возможностей. Она осудила мечту Эбенезера Говарда о городе-саде, потому что запланированная им изоляция предполагает, что сообщества фермеров, фабричных рабочих и бизнесменов останутся раз навсегда установленными различными кастами. Такое предположение не учитывает «спонтанного разнообразия» и текучести, которые были главными особенностями города XIX в.[351]

Склонность городских планировщиков к массовым расчисткам трущоб подверглась осуждению по тем же причинам. Трущобы были первой точкой опоры бедных мигрантов в городе. Пока они держались в разумных пределах и их экономика была относительно сильна, люди и бизнес могли существовать, не залезая в долги, и эти поселения с течением времени самостоятельно выбирались из трущобного состояния. Многие уже и выбрались. Однако планировщики нередко разрушали и «нетрущобные трущобы», поскольку те не соответствовали их доктринам «планирования и использования земельных участков,

плотности застройки, сочетания разного вида строений и типов деятельности»[352], не говоря уже о спекуляции землей и соображениях безопасности, лежавших в основе всяких «городских обновлений».

Время от времени Джекобс отстраняется от бесконечного и изменяющегося разнообразия американских городов, чтобы выразить некоторый страх и смирение: «Их запутанный порядок — проявление свободы бесчисленного множества людей строить и реализовать бесчисленные планы — вызывает зачастую большое удивление. Мы не должны отказываться сделать это живое собрание взаимозависимых использований, эту свободу, эту жизнь более понятной, хотя мы и не осознаем, что это такое само по себе»[353]. Мнение многих городских планировщиков о том, что они знают, чего люди хотят и как люди должны проводить время, кажется Джекобс близоруким и высокомерным. Эти планировщики принимали за истину (по крайней мере, принятые ими планы подразумевают это), что люди предпочитают открытые пространства, визуальный (зонированный) порядок и тишину. Они предполагали, что люди хотят жить в одном месте, а работать в другом. Джекобс полагает, что они ошибаются, и она готова аргументировать свою позицию повседневными уличными наблюдениями, а не чьими-то пожеланиями.

Логика городских планировщиков, лежащая в основе пространственного разделения и зонирования для единственного использования, которую критиковала Джекобс, была одновременно эстетической, научной и практической. Эстетически она приводила к визуальной упорядоченности, даже к единообразию скульптурного вида данного ансамбля. С научной точки зрения эта логика уменьшала число неизвестных, для которых планировщик должен был найти решение. Подобно системе уравнений в алгебре, слишком большое число неизвестных в городском планировании делало любое решение проблематичным или требовало весьма определенных предположений. Проблема, перед которой стоял планировщик, была аналогична проблеме лесовода. Одно современное решение состояло в том, чтобы заимствовать определенную технику управления, так называемое оптимальное управление, и тогда воспроизводство древесины могло быть успешно предсказано в результате немногих наблюдений с помощью скупой формулы. Само собой разумеется, что оптимальное управление — самая простая теория, в которой большое число переменных превращается в константы.

Таким образом, лес с деревьями единственного вида, одинакового возраста, посаженными по прямым линиям на плоской равнине с одинаковой почвой и одинаковыми показателями влажности, подчиняется более простой и точной формуле. В сравнении с однородностью разнообразие всегда труднее проектировать, строить и управлять им. Когда Эбenezер Говард подошел к градостроительству как к простой задаче связи двух переменных в закрытой системе: потребности в жилье и потребности в рабочей силе, он работал «с научной точки зрения» в тех же самых принятых ограничениях. Формулы для количества зелени, света, школ и квадратных метров на душу населения довершали дело.

В городском планировании, как и в лесоводстве, только один шаг отделяет упрощающие предположения от практики формирования окружающей среды таким образом, чтобы удовлетворялись требуемые формулой упрощения. Примером может служить логика планирования потребностей в покупках для данного количества населения. Как только

планировщики применили определенную формулу для некоторого числа квадратных футов пространства торгового зала, выделив из них такие категории, как продовольствие и одежда, они поняли, что будут должны делать эти торговые центры монополистами в пределах данного района, чтобы близлежащие конкуренты не лишали его клиентуры. Специальный пункт плана должен был узаконить эту формулу, тем самым гарантируя торговому центру его монополию[354]. В этом случае твердое зонирование по принципу единственного использования превращается не только в эстетическую меру. Оно помогает реализовать научное планирование так, чтобы сделать справедливыми формулы, описывающие наблюдения в этом пространстве самоисполняющегося пророчества.

Радикально упрощенный город, если рассматривать его сверху, практичен и эффективен. Организация услуг — электричество, вода, канализация, почта — упрощается и под, и над землей. Районы единственного использования проще строить, функционально повторяя одинаковые квартиры или офисы. Ле Корбюзье взывал к такому будущему, когда все компоненты зданий будут изготавливаться промышленно[355]. По этим линиям зонирования район за районом возводится город, более единообразный эстетически и более упорядоченный функционально. В каждом районе происходит единственный вид деятельности или узкий набор их: в деловом районе — работа, в жилом квартале — семейная жизнь, в торговом районе — покупки и развлечения. С полицейской точки зрения это функциональное разделение сводит к минимуму непослушные толпы и вводит максимум возможной регламентации в движение и поведение населения.

Как только установлено само желание всесторонне планировать все в городе, логика единообразия и регламентации становится непреклонной. Эффективность затрат вносит свой вклад в эту тенденцию. Скажем, в тюрьме получится большая экономия, если все заключенные будут носить униформу из одного и того же материала, одинакового цвета и размера, ведь каждая уступка разнообразию влечет за собой соответствующее увеличение затрат административного времени и бюджетной стоимости. Если планирующая власть не обязана делать уступки народным желаниям, решение «один размер удовлетворяет всех», вероятно, возобладает[356].

Против взгляда планировщиков и их формул Джекобс выдвигает свои. Ее эстетика — эстетика прагматического, уличного уровня — основана на опыте, на рабочем порядке города, который создается для живущих там людей. Она задает вопрос: какая физическая среда притягивает людей, облегчает их обращение, способствует социальному обмену и контактам, удовлетворяет и утилитарные, и неутилитарные потребности? Попытка честно ответить на этот вопрос приводит ко многим следствиям: например, короткие кварталы предпочтительнее длинных, потому что они связывают воедино больше видов деятельности. Больших стоянок грузовиков или бензозаправочных станций, нарушающих интересы непрерывности движения пешехода, нужно избегать. Следует сохранить минимум скоростных дорог и огромных отталкивающе распростертых площадей, которые действуют как визуальные и физические барьеры. Здесь тоже есть определенная логика, но логика не априорно визуальная и не чисто утилитарная. Скорее, это стандарт оценки того, насколько данное размещение отвечает социальным и практическим нуждам горожан.

Планирование незапланированного

Историческое разнообразие города — источник его ценности и притягательной силы — незапланированное творение многих рук и долгой практики. Большинство городов представляют собой результат, векторную сумму большого числа незначительных действий, не имевших четко выраженного намерения. Несмотря на усилия монархов, планирующих органов и капиталистических спекулянтов, «в большинстве своем городское разнообразие создается невероятным числом различных людей и частных организаций со значительно различающимися идеями и целями, планирующих и изобретающих вне формальной структуры общественного действия»[357]. Ле Корбюзье согласился бы с этим описанием существующего города, но это было то самое, что его ужасало. Это была та самая какофония намерений, которая отвечала за путаницу, уродство, беспорядок и неэффективность незапланированного города. Глядя на те же самые социальные и исторические факты, Джекобс находит основания для похвалы: «Города могут дать что-нибудь каждому, только потому и только если они созданы всеми»[358]. Она не какой-нибудь свободно-рыночный либертарианец, однако она ясно понимает, что капиталисты и спекулянты волей-неволей преобразовывали город своими коммерческими мускулами и политическим влиянием. Но, полагает она, планирование, приходя в общественную политику, не должно узурпировать этот незапланированный город: «Главная задача проекта и городского планирования должна быть связана с развитием, потому что общественная политика и общественное действие могут многое сделать, чтобы город привлекал к себе много неофициальных планов, идей и возможностей процветания»[359]. Планировщик, следующий идеям градостроительства Ле Корбюзье, интересуется целостной формой городского пейзажа и его эффективностью при перевозке людей от точки к точке, а планировщик, следующий идеям Джекобс, сознательно оставляет место для неожиданных, мелких, неофициальных и даже непроизводительных человеческих действий, которые составляют жизнеспособность «живого города».

Джекобс лучше, чем большинство городских планировщиков, осознает экологические и рыночные силы, непрерывно преобразующие город. Гавани, железные дороги и шоссе как средства перемещения людей и товаров демонстрируют уровень деятельной жизни районов города. Но иногда даже успешные, оживленные окрестности, которые Джекобс так высоко ценит, становятся жертвами собственного успеха. Тот или иной район «колонируется» городскими мигрантами, потому что цена на землю, и, следовательно, арендная плата там ниже. Когда район становится более привлекательным для жилья, арендная плата повышается, изменяется и местная торговля, хозяева новых предприятий часто вытесняют первоначальных владельцев — пионеров, тех, кто помогал преобразовывать этот район. Природа города — поток и изменение; успех и оживленная жизнь в районе не могут быть заморожены и сохранены планировщиками. Запланированный с широким размахом город со временем неизбежно уменьшит степень своего разнообразия, это является необходимым признаком больших городов. Хороший планировщик может только скромно содействовать увеличению городской сложности, а не препятствовать ей.

Для Джекобс город развивается подобно тому, как развивается язык. Язык — совместное историческое создание миллионов говорящих. Хотя все они имеют некоторое влияние на развитие языка, равенство здесь не соблюдается. Лингвисты, филологи и педагоги (некоторые из них поддерживаются государственной властью) делают более значительный вклад. Но процесс не поддается и диктатуре. Несмотря на все усилия «центрального

планирования», язык (особенно его повседневная разговорная форма) упрямо продолжает свой собственный богатый, мультивалентный, красочный путь. Точно так же, несмотря на попытки городских планировщиков проектировать и стабилизировать город, он уклоняется; он всегда заново изобретается и гнется во все стороны его обитателями[360]. Для большого города и богатого языка эта открытость, пластичность и разнообразие позволяют им служить бесконечному разнообразию целей, но многие из них все-таки должны быть запланированы.

Аналогию можно продолжить и дальше. Подобно запланированным городам, запланированные языки действительно возможны. Примером могут служить эсперанто, технические и научные языки: они являются весьма точными и мощными средствами выражения в рамках ограниченных целей, для которых они и разработаны. Но язык сам по себе не предназначен только для одной или двух целей. Это — общий инструмент, который может быть направлен на бесчисленное число целей благодаря его адаптируемости и гибкости. Сама история унаследованного нами языка содержит огромный диапазон ассоциаций и значений, которые поддерживают его пластичность. Можно было бы попытаться запланировать все в городе начиная с нуля. Но так как никакой человек или комитет не мог бы полностью охватить все цели и пути жизни, настоящее и будущее, которым живут его жители, это была бы худосочная и слабая версия реального сложного города со своей историей. Это будет Бразилиа, Санкт-Петербург или Чандигарх, а не Рио-де-Жанейро, Москва или Калькутта. Только время и работа миллионов ее жителей могут превратить бледную тень замысла города в настоящий город. Серьезный недостаток запланированного города — то, что он будет не в состоянии не только уважать самостоятельные цели и субъективность людей, которые в нем живут, но и допустить достаточного спонтанного взаимодействия между его жителями — тех обстоятельств, которые создают город.

Джекобс своеобразно, с пониманием относится к новым формам социального порядка, которые появляются в многих районах города. Это отношение отражено в ее внимании к обыденным, но значимым человеческим связям, которыми пронизаны живущие полной жизнью районы. Признавая, что никакой городской район не может и не должен быть статичным, она подчеркивает необходимость минимальной степени непрерывности социальных сетей и «уличного языка», требуемых для создания связного единства. «Если в данном месте должно работать самоуправление, — размышляет она, — то в его основе должна лежать непрерывность сети добрососедских отношений людей — незаменимого социального капитала города. Всякий раз, когда капитал теряется — все равно по какой причине — [социальный] доход от этого исчезает и возвращается только тогда, когда накопится новый капитал, а это происходит медленно и с трудом»[361]. Это относится даже к трущобам — Джекобс была настроена категорически против проектов расчистки трущоб, которые были в большой моде, когда она писала свою книгу. Трущобы не могли иметь большого социального капитала, но тот, который они имели, надо было использовать, а не уничтожать[362]. Именно этот акцент на изменении, возобновлении и изобретении удерживает Джекобс от того, чтобы стать консерватором в духе Берка, прославляющим все прошедшее. Пробовать задержать это изменение (хотя можно было бы попытаться со всей скромностью повлиять на него) было бы не только неблагоразумно, но и бесполезно.

Крепкие районы, как и крепкие города, являются результатом действия сложных процессов, которые не могут быть навязаны сверху. Джекобс с одобрением цитирует планировщика Стэнли Танкела, который выступил против крупномасштабной очистки трущоб (что очень редко бывает) в следующих выражениях: «следующий шаг потребует большего смирения, так как мы сегодня слишком склонны путать большие проекты строительства с большими социальными достижениями. Нам придется признать, что задача создания сообщества выходит за пределы возможностей воображения. Мы должны учиться сохранять и развивать те сообщества, которые у нас есть, они нам трудно достались. «Приводите в порядок здания, но оставьте в покое людей», «Никакого переселения за пределы окрестностей» — вот какими должны быть лозунги, если мы хотим, чтобы людям нравилось жить в данном районе»[363]. Политическая логика, которую отстаивает Джекобс, состоит в том, что планировщик не может создать полноценно функционирующего сообщества, а вот если такое сообщество уже создано, оно само внутри себя может улучшать свое собственное состояние. Ставя логику планирования с головы на ноги, она объясняет, как разумное и сильное сообщество района в демократической обстановке может бороться за создание и поддержание хороших школ, удобных парков, ответственных городских служб и приличного жилья.

Джейн Джекобс выступала против главных фигур, все еще господствовавших в планировании городского пейзажа ее времени: Эбенезера Говарда и Ле Корбюзье. Некоторым из ее критиков она казалась довольно консервативной фигурой, расхваливавшей достоинства сообщества в бедных районах, которые многие стремились оставить, и не обращавшей внимания на степень, в которой город уже «планировался» — не народной инициативой или государством, а разработчиками и финансистами с политическими связями. Есть некоторая справедливость в этой точке зрения. Для нас, однако, нет сомнения в том, что именно она указала на главные изъяны высокомерного высокомодернистского городского планирования. Первый изъян — предположение, что планировщики могут хоть с какой-либо долей вероятности прогнозировать будущее, чего требуют их схемы. Мы сейчас знаем достаточно, чтобы скептически относиться к прогнозам, исходящим из текущих тенденций в нормах изобилия, движения в городе или структуре занятости и дохода. Такие предсказания часто бывают неправильными. Что касается войн, нефтяных кризисов, погоды, вкусов потребителя и политических взрывов, наша способность предсказания — фактически нулевая. Во-вторых, частично благодаря Джекобс мы теперь знаем больше о том, что хорошо для людей, которые живут в данном районе, но все еще мало о том, как такие общины могут создаваться и поддерживаться. Работая с формулами плотности населения, зеленых насаждений и транспорта, можно добиться эффективных результатов в узкой сфере, но вряд ли таким образом можно построить город, в котором захочется жить. Бразилиа и Чандигарх это подтверждают.

Отнюдь не совпадение то обстоятельство, что многие из высокомодернистских городов — Бразилиа, Канберра, Санкт-Петербург, Исламабад, Чандигарх, Абуджа, Додома, Сиудад Гайана[364] — были административными столицами. Здесь, в центре государственной власти, в полностью новом окружении, с населением, состоящим в значительной степени из государственных служащих, которые и обязаны были проживать там, государство может быть уверено в успехе своей сетки планирования. Тот факт, что задача города — быть государственным центром, уже значительно упрощает задачу планирования. Власти не

должны бороться, как пришлось Хаусманну, с существовавшими раньше коммерческими и культурными центрами. Контролируя инструменты зонирования, занятости, проживания, уровня заработной платы и физического расположения, они могут подгонять окружающую среду к городу. Эти городские планировщики, которых поддерживает государственная власть, похожи на портных, которые не только вольны изобретать костюм, какой хотят, но могут даже урезать клиента так, чтобы он подходил к мерке.

Городские планировщики, отвергающие «чучельный город», по выражению Джекобе, должны изобрести такое планирование, которое поощряет инициативу и непредвиденные обстоятельства; оно должно в минимальной степени ограничивать выбор, способствовать обращению людей друг к другу, контактам между ними, из которых и возникает инициатива. Чтобы проиллюстрировать возможное разнообразие городской жизни, Джекобс перечисляет различные применения, которые нашел за эти годы центр искусств в Луисвиле: постоянная группа актеров, школа, театр, бар, спортивный клуб, кузница, фабрика, склад, художественная студия. И тогда она спрашивает риторически: «Кто мог ожидать или произвести такую последовательность надежд и услуг?» Ее ответ прост: «Только человек, совершенно лишенный воображения, полагал бы, что сможет; только самонадеянный захотел бы»[365].

5. Революционная партия: ее план и оценка деятельности

“ Чувство же, товарищ Чепурный, — это массовая стихия, а мысль — организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация для нас выше всего.

Андрей Платонов. Чевенгур

“ Коммунизм был наиболее искренним, энергичным и доблестным борцом современности... Это совершилось под коммунистическим... покровительством — то, что смелая мечта современности, освобожденная от препятствий беспощадным и всемогущим государством, продвинулась к своим основным целям: великим проектам, неограниченной социальной перестройке, высокой и разнообразной технологии, полному преобразованию природы.

Зигмунд Бауман. Жизнь без выбора

Ленинский проект проведения революции во многом сравним с проектом построения современного города Ле Корбюзье. И то, и другое было достаточно сложным делом, которое пришлось доверить профессионализму и проницательности квалифицированных работников, вполне способных самостоятельно понимать, как план будет разворачиваться на деле. И так же, как Ле Корбюзье и Ленин придерживались в общих чертах сопоставимых вариантов высокого модернизма, так и взгляды Джейн Джекобс были близки взглядам Розы Люксембург и Александры Коллонтай, которые выступали против политики Ленина. Джекобс подвергала сомнению как возможность, так и желательность запланированного сверху города, а Люксембург и Коллонтай сомневались в возможности и желательности революции сверху, совершаемой партией авангарда.

Ленин — архитектор и инженер революции

Ленин, если судить по его основным работам, был убежденным высоким модернистом. В широком смысле слова его линия была весьма последовательной: писал ли он о революции, индустриальном планировании, сельскохозяйственной или управленческой организации, он сосредоточивал свое внимание на единственном научном ответе, который был известен образованной интеллигенции и которому все должны были следовать. Конечно, как практик Ленин обладал еще и другими качествами. Его способность понимать и учитывать настроение народа при формировании большевистской политики, объявлять тактическое отступление, когда это казалось благоразумным, и наносить смелый удар, чтобы получить преимущество, была более значима для его успеха в качестве революционера, чем его высокий модернизм. Однако нас Ленин прежде всего интересует как высокий модернист.

Основной текст для уточнения ленинских высокомодернистских взглядов на революцию — его работа «Что делать?»[366] Высокий модернизм входил составной частью в основную цель ленинской аргументации: убедить русских левых, что только небольшая группа отобранных, профессиональных революционеров могла вызвать революцию в России. Высказанная в 1903 г. задолго до «генеральной репетиции» в 1905 г. эта точка зрения никогда не пересматривалась Лениным, даже при совершенно противоположных обстоятельствах в 1917 г., между ниспровержением царя в феврале и захватом власти большевиками в октябре, когда он написал работу «Государство и революция». Я буду сравнивать взгляды Ленина в этих двух работах и его работах по сельскому хозяйству со взглядами Розы Люксембург, высказанными в ее статье «Массовая забастовка, партия и профсоюзы», написанной в ответ на «Что делать?», и с точкой зрения Александры Коллонтай, значительной фигуры в так называемой «Рабочей оппозиции», которая, находясь внутри большевистской партии, многое критиковала в политике Ленина после революции.

Ленинская работа «Что делать?»

Сам выбор Лениным названия «Что делать?» весьма значим, поскольку так назывался популярный роман Чернышевского, герой которого — «новый человек» из интеллигенции — выступал за разрушение старого режима и за последующее автократическое правление для установления социальной утопии. Это была любимая книга старшего брата Ленина, Александра, которого казнили в 1887 г. за участие в покушении на жизнь царя. Даже когда Ленин стал марксистом, книга «Что делать?» оставалась его любимым произведением: «Я познакомился с работами Маркса, Энгельса и Плеханова, но только Чернышевский имел на меня такое ошеломляющее влияние»[367].

Идея о том, что высшее знание, авторитарное правление и наличие соответствующего социального проекта могли бы преобразовать общество, пронизывает обе работы Ленина. В книге «Что делать?» отношения между партией авангарда и рабочими характеризуются определенными метафорами, которые создают стиль и характер этой работы, тем самым направляя и ее содержание. Эти метафоры группируются вокруг классных комнат и казарм[368]. Партия, ее местные агитаторы и пропагандисты работают как школьные учителя — они помогают поднять простое экономическое недовольство на уровень политических революционных требований, они действуют как офицеры революционной армии, передвигающие своих солдат на другие, лучшие позиции. В роли учителя авангардная партия и ее газета используют авторитарный педагогический стиль. Партия анализирует многочисленные и разнообразные народные жалобы и в подходящее время «диктует позитивную программу действий», которая определяет «всеобщую политическую борьбу»[369].

К слову сказать, Ленин жаловался, что партийные активисты очень плохо подготовлены. Он говорил: «Мало ведь назвать себя „авангардом“, передовым отрядом, — надо и действовать так, чтобы *все остальные отряды* видели и вынуждены были признать, что мы идем впереди». Цель передовой партии состоит в обучении стремящихся действовать, но «отсталых» пролетариев революционной политике, чтобы их можно было назначить на должность в армию, которая «соберет и подвергнет обработке все крупницы хотя бы зародышевого протеста», создавая таким образом дисциплинированную революционную армию[370]. В контексте этих метафор «массы» вообще и рабочий класс в частности становятся «телом», а авангардная партия — «мозгом». Партия для рабочего класса есть то же, что ум для грубой силы, осмотрительность для беспорядочности, менеджер для рабочего, учитель для ученика, администратор для подчиненного, профессионал для дилетанта, армия для толпы или ученый для обывателя. Краткое объяснение, как работают эти метафоры, поможет понять ленинский вариант высокомодернистской, хотя и революционной, политики.

Ленин, конечно, понимал, что успех революционного предприятия зависел от готовности народа к выступлению и быстроты действий. Однако трудно было надеяться только на народные выступления снизу, потому что эти выступления были разрозненными и эпизодическими, что позволяло царской полиции легко справляться с ними. Если уподобить народные действия взрывчатому политическому материалу, роль авангардной партии состояла в такой концентрации и нацеливании этого заряда, чтобы его взрыв смог разрушить режим. Авангардная партия «сливает *воедино* стихийно-разрушительную силу толпы и сознательно-разрушительную силу организации революционеров»[371]. Этот мыслящий орган революции гарантировал, что народная сила, прежде неорганизованная и темная, теперь использовалась эффективно. Логика такого рассуждения привела Ленина к мысли о партии авангарда как гипотетическом генеральном штабе многочисленной, но недисциплинированной армии неопытных новичков, уже находящихся в сражении. Чем более неуправляема армия, тем больше потребность в небольшом генеральном штабе, координирующем ее действия. Своим оппонентам слева (экономистам), которые утверждали, что десяток умников легко выловить, а сотню дураков (революционную толпу) невозможно остановить, Ленин отвечал, «что без „десятка“ талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных, профессионально подготовленных и долгой школой

обученных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе стойкая борьба ни одного класса»[372].

Ленинские аналогии с военной организацией были не только красивыми оборотами речи, он действительно так думало большинство аспектов работы партийной организации. Он писал о «тактике» и «стратегии» в самом прямом, военном, смысле. Только генеральный штаб способен к развертыванию своих революционных сил в соответствии с целостным планом сражения. Только генеральный штаб может оценить все позиции на поле боя и предвосхитить вражеское наступление. Только генеральный штаб может иметь «гибкость...», чтобы немедленно приспособиться к разнообразным и быстро меняющимся условиям борьбы, ...уменьше, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющим своей силою неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с другой — пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения»[373]. Он утверждал, что предыдущие неудачи социал-демократов можно приписать отсутствию организации, планирования и координации, которые мог обеспечить только генеральный штаб. Эти «молодые бойцы», которые «отважно пошли на битву с удивительно примитивным оружием и необученные», были подобны «крестьянам от сохи, взявшимся за винтовку». Их «немедленное и полное поражение» было неизбежно, «потому что эти открытые столкновения не являлись результатом систематического, тщательно продуманного и постепенно подготовленного плана длительной и упорной борьбы»[374].

Частично необходимость строгой дисциплины возникала из-за того, что враги революции были лучше вооружены и более опытны. Это объясняет, почему «свобода критики» среди революционных сил могла быть выгодна только оппортунистам и приводила к господству буржуазных ценностей. Ленин еще раз ухватился за военную аналогию, чтобы все поставить на свои места: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото», т. е. в свободу критики[375].

Представляемые Лениным отношения между авангардом партии и ее рядовым составом, возможно, лучше всего иллюстрируются терминами «масса» и «массы». Хотя эти термины стали стандартными оборотами в социалистическом жаргоне, они довольно обидны. Ничто лучше не передает образа чистого и неупорядоченного количества, чем слово «массы». Как только такой ярлык прилеплен, становится ясно, что в основном они участвуют в революционном процессе весом своей численности и грубой силой, которую они, конечно, представляют, если ими твердо управлять. Так создается впечатление огромной, бесформенной, все крушащей толпы, не объединенной никакой общностью — без истории, без идей, без плана действий. Конечно, Ленин полностью осознавал, что рабочий класс имеет свою собственную историю и собственные ценности, но эта история и эти ценности поведут рабочий класс в неверном направлении, если их не заменить историческим анализом и передовой революционной теорией научного социализма.

Таким образом, партия авангарда не только необходима для тактического единства масс, но и должна в буквальном смысле все решать за них. Партия функционирует как

исполнительная элита, чье понимание истории и диалектического материализма позволяет ей ставить верные «военные цели» классовой борьбы. Ее власть основывается на научном интеллекте. Ленин указывал на «глубоко верные и важные высказывания Карла Каутского»: пролетариат не может достичь «современного социалистического сознания» своими силами, потому что он испытывает недостаток в «глубоком научном знании», а потому необходимо понять следующее: «Движущая сила науки не пролетариат, а *буржуазная интеллигенция*» [376].

Такова суть высказываний Ленина о стихийности. Существуют только две идеологии: буржуазная и социалистическая. Проникающая сила буржуазной идеологии такова, что стихийное развитие рабочего класса может привести только к ее триумфу. По ленинской незабываемой формулировке, «рабочий класс своими собственными усилиями способен развить только профсоюзное сознание» [377]. Социал-демократическое сознание, напротив, приходит извне, т. е. от социалистической интеллигенции. Партия авангарда представлена как в полном смысле сознательная, научная и социалистическая сила в противоположность массам, которые в значительной степени несознательны, донаучны и подвержены постоянной опасности впитывать буржуазные ценности. Строгие замечания Ленина относительно недисциплинированности — «отклониться от этого [от социалистической идеологии] на малейший градус означает усилить буржуазную идеологию» [378] — оставляют впечатление директив генерального штаба, чей жесткий контроль является единственным средством удержать новобранцев, способных в любой момент разбежаться и начать бузить.

В ленинском рассуждении метафоры, связанные с армией и классной комнатой, иногда заменяются образами бюрократического учреждения или промышленного предприятия, в котором только руководители и инженеры могут видеть большие цели организации. Ленин призывает к некоторому подобию разделения труда в революционной работе, где руководитель обладает монополией на передовую теорию, без которой революция невозможна. Аналогично владельцам фабрик и инженерам, которые составляют рациональные планы производства, партия авангарда обладает научным пониманием революционной теории, позволяющим руководить борьбой пролетариата за освобождение. В 1903 г. для доказательства своей позиции Ленин еще не мог сослаться на сборочные линии поточного производства, но он подобрал другую отличную аналогию из строительной техники. «Скажите, пожалуйста, — говорил он, — когда каменщики кладут в разных местах камни *громadной и совершенно невиданной постройки*, — не «бумажное» ли это дело проведение нитки, помогающей находить правильное место для кладки, указывающей на конечную цель общей работы, дающей возможность пустить в ход не только каждый камень, но и каждый кусок камня, который, смыкаясь с предыдущими и последующими, возводит законченную и всеобъемлющую линию? И разве мы не переживаем как раз такого момента в нашей партийной жизни, когда у нас есть и камни, и каменщики, а не хватает именно видимой для всех нити, за которую все могли бы взяться?» [379] Партия имеет конкретный проект совершенно новой структуры, которую сделало возможной ее научное прозрение. Дело рабочих — следовать предначертанному пути, будучи убежденными, что архитекторы революции знают свое дело.

Военная метафора в целом отражает картину, аналогичную разделению труда в современном капиталистическом производстве. И то, и другое требует авторитарных методов руководства и централизованного контроля. Поэтому Ленин писал о потребности партии в «распределении тысяча одной минуты *функций* ее организаторской работы», выражал недовольство «техническими погрешностями» и призывал к объединению «всех этих крошечных фракций в одно целое». Как он заключает, «специализация необходимо предполагает централизацию и, в свою очередь, властно призывает к этому»[380].

Конечно, большой парадокс работы «Что делать?» в том, что Ленин, выбрав темой организацию революции, неотделимую от народного гнева, насилия и определения новых политических *целей*, обсуждает ее на специальном языке техники, технической иерархии, эффективной и предсказуемой организации *средств*. Политика таинственным образом исчезает из революционных рядов и оставляется верхам авангардной партии — так инженеры могли бы обсуждать между собой, каким образом уложить фабричный пол. Партия авангарда есть машина для производства революции. Нет никакой необходимости в политике внутри партии, так как научность и разумность социалистической интеллигенции требуют только технически необходимого подчинения; суждения партии объективны и логически неизбежны.

Ленин распространяет эту линию рассуждения на характеристику революционной элиты. Люди, принадлежащие к ней, не просто революционеры, они — «профессиональные революционеры». Он настаивает на полном смысле определения «профессиональный» — опытный, углубленный в работу, обученный революционер. Малочисленные, законспирированные, дисциплинированные кадры противопоставлены рабочим организациям — многочисленным, всем известным и представляющим определенные отрасли производства. Эти группы невозможно спутать. Таким образом, к аналогии отношения фабричного управляющего к рабочему Ленин добавляет еще аналогию отношения профессионала к новичку или дилетанту. Предполагается, что новички и дилетанты пойдут за профессионалами, обладающими большими техническими знаниями и опытом.

Точно так же, как Ле Корбюзье мечтает, что народ доверится познаниям и расчетам искусного архитектора, так и Ленин полагает, что здравомыслящий рабочий захочет довериться власти профессиональных революционеров.

Вернемся наконец к метафоре, связанной с классной комнатой, в которой авангардная партия — учитель, а массы — ученики. Ленин вряд ли уникален в использовании этой аналогии. В общем-то, ее педагогическое содержание не ново, просветительские кружки для рабочих и школы социалистических бойцов были обычным явлением, особенно в Германии, где Роза Люксембург преподавала в социалистических партийных школах в Берлине. Хотя образ класса, может быть, и банален, особое использование его. Лениным для характеристики обучения социализму придает этому образу определенный акцент. Огромное количество ленинских мыслей и выступлений было посвящено широко понимаемому «социалистическому обучению». Его внимание было поглощено обучением бойцов, ролью партийной газеты «Искра», содержанием речей, манифестов и лозунгов. Но при социалистическом обучении Ленина существует опасность, что учителя потеряют

контроль над учениками и погрязнут в проникающем влиянии узких экономических требований, законодательных реформ и чисто местных забот. Метафора классной комнаты иерархична, но Ленин все-таки беспокоится, что учителя-социалисты поддадутся влиянию учеников и «скатятся к примитивным представлениям». Это лежащее на поверхности ленинских работ опасение очевидно в следующей цитате:

“ Самая первая, самая настоятельная наша обязанность — содействие выработке рабочих-революционеров, стоящих на таком же уровне *в отношении партийной деятельности*, как и интеллигенты-революционеры (мы подчеркиваем слова: *в отношении партийной деятельности*, ибо в других отношениях достижение такого же уровня рабочими, хотя и необходимо, но далеко не так легко и не так настоятельно). Поэтому *главное* внимание должно быть обращено на то, чтобы *поднимать* рабочих до революционеров, отнюдь не на то, чтобы *опускаться* самим непременно до «рабочей массы», как хотят «экономисты», непременно до «рабочих-средняков», как хочет [газета] «Свобода»[381].

Дилемма для партии — как обучить революционеров, которые будут близки с рабочими (и, возможно, сами по происхождению из рабочих), но не впитают их идеологию, не поддадутся их влиянию и не будут ослаблены их политической и культурной отсталостью. Некоторые опасения Ленина были в то время связаны с его убеждением, что российский рабочий класс и большинство социалистической интеллигенции по сравнению с их немецкими соратниками были очень отсталыми. В работе «Что делать?» немецкие социал-демократы и немецкое профсоюзное движение неоднократно выступают образцом для России. Но причина ленинских тревог выше национальных различий; она вырастает из резко очерченных функциональных ролей, которые играют партия и рабочий класс. Классовое сознание, в конечном счете, есть объективная правда, которую несут исключительно идеологически просвещенные, те, кто направляет партию авангарда[382].

Однако, вопреки первому закону движения Ньютона, ленинскую логику питает центральная идея о том, что партия будет «вечным двигателем». Близкая связь с рабочим классом абсолютно необходима для пропаганды и агитации, но она должна быть так близка, чтобы никогда не угрожать главенству знания, влияния и власти. Если профессиональные революционеры действительно хотят стать лидерами, от них потребуется детальное понимание и знание рабочего класса, как хорошие учителя знают своих учеников, военные офицеры — своих подчиненных, а руководители производства — своих рабочих. Это знание имеет целью решение задач, поставленных элитой. Описанные отношения настолько асимметричны, что хочется сравнить их с отношением ремесленника к своему материалу. Плотник или каменотес должны хорошо чувствовать свой материал, чтобы качественно выполнять свою работу. В ленинском примере под глобальными образами «массы» или «пролетариата» подразумевается инертный материал, которому надо придать форму. Используя столь плоскую терминологию, без упоминания религии, этнической принадлежности и языка трудно исследовать огромные различия в истории, политическом опыте, организационных навыках и идеологии, которые существуют в среде рабочего

класса.

Возможна еще одна, чисто российская причина, заставляющая Ленина настаивать на необходимости малочисленной, дисциплинированной и засекреченной организации революционеров. Дело в том, что им приходилось действовать при самодержавии под носом царской тайной полиции. Совершенно иная ситуация была, например, в Германии, где вследствие определенных политических свобод, и в частности свободы печати, были широко известны публичные отчеты всех кандидатов в члены комитета Германской социал-демократической партии, а начало выборов благожелательно комментировалось. Немудрено, что Ленин воскликнул: «Попробуйте-ка вставить эту картину в рамки нашего самодержавия!»[383] Там, где революционер должен скрываться под страхом ареста, столь открыто демократические методы невозможны. Ленин доказывал, что революционеры в России должны приспособить свою тактику к тактике врага — политической полиции. Если бы этот аргумент Ленина в пользу секретности и железной дисциплины был единственным, тогда к нему можно было бы относиться как к несущественной тактической уступке местным условиям. Но это было не так. Секретность партии была предназначена не только для предотвращения пагубного влияния снизу, но и для избежания арестов и ссылок. По-другому не истолкуешь отрывок, подобный следующему: «При такой организации [засекреченном ядре «испытанных» революционеров]», стоящей на твердом теоретическом базисе и располагающей социал-демократическим органом, нечего будет бояться того, что движение соьбют с пути многочисленные привлеченные к нему «сторонние» элементы[384].

Как же движение могло сбиться с пути? Ленин имел в виду в основном две потенциальные опасности. Первой была стихийность, которая делала невозможной тактическую координацию революционных действий, второй — конечно, неизбежное проникновение идеологии рабочего класса в профсоюзное движение и законодательную реформу. Действительно, если революционное классовое сознание не могло самостоятельно развиваться внутри рабочего класса, то подлинные политические взгляды рабочих всегда представляли угрозу для партии авангарда.

Возможно, поэтому Ленин писал о пропаганде и агитации как о единственно возможных способах передачи его взглядов и идей. Его настоятельное подчеркивание значения партийной газеты прекрасно вписывается в этот контекст. Газета даже больше, чем «агитация» перед возбужденной или мрачной толпой, создает только односторонние отношения[385]. Этот орган является великолепным способом распространения инструкций, объяснения партийной линии и сплочивания рядов. Как и ее преемник радио, газета — средство, больше подходящее для рассылки информации, нежели для ее получения,

Во многих случаях Ленин и его товарищи понимали угрозу пагубного влияния более чем буквально и писали языком метафор, заимствованных из научной гигиены — теории болезнетворных микробов. Так, стало возможным говорить о «мелкобуржуазной бацилле» и «инфекции»[386]. Переход к этим образам был естественным — Ленин действительно хотел сохранить партию, насколько это возможно, в стерильной среде, чтобы партия не подхватила какой-нибудь из многочисленных микробов, распространенных снаружи[387].

Общее отношение к рабочему классу в ленинской работе «Что делать?» сильно напоминает известное марксистское описание французского мелкособственнического крестьянства, которое сравнивалось с «мешком картошки» — точно такое же множество «гомологических» элементов, страдающих отсутствием общей формы, единства. Отсюда выводится роль авангардной партии. Ее задача состоит в смене бесформенного, спонтанного, разрозненного и локального гнева масс в организованную силу, имеющую цель и направление. Как сила притяжения мощного магнита организует хаос тысяч железных опилок, так и от партийного руководства ожидается, что оно преобразует толпу в политическую армию. Временами трудно распознать, что же на самом деле вносят массы в революционный процесс, кроме самих себя как сырого материала. Ленинский список функциональных ролей, которые играет партия, весьма разносторонний. «Идти во все классы населения мы должны и в качестве теоретиков, и в качестве *пропагандистов*, и в качестве *агитаторов*, и в качестве *организаторов*»[388]. Из этого перечисления можно сделать вывод, что революционеры должны дать массам знания, взгляды, убежденность и руководство к действию, а также организационную структуру. При данном однонаправленном потоке интеллектуальных, социальных и культурных услуг сверху, трудно себе представить, что остается массам, кроме как позволить себя организовать.

Ленинское понимание революционного разделения труда было похоже на то, чего ожидали от масс (при редкой практике) все коммунистические партии, как находящиеся, так и не находящиеся у власти. Центральный комитет критикует тактику и стратегию, а примкнувшие к ней массовые организации и профсоюзы служат «приводными ремнями» для выполнения инструкций. Если, по Ленину, рассматривать партию авангарда как машину для осуществления революции, то становится понятным, что отношение партии авангарда к рабочему классу не сильно отличается от отношения к нему капиталиста. Рабочий класс необходим для производства, его члены должны быть обучены и проинструктированы, а эффективная организация их работы должна быть возложена на профессиональных специалистов. Окончательные цели революционеров и капиталистов, конечно, крайне различны, но проблемы *средств*, стоящие перед теми и другими, одинаковы и решаются также одинаково. Задача фабричного управляющего — использовать много фабричных «рук» (а все они взаимозаменяемы) в целях эффективного производства. Задача научной социалистической партии — эффективно использовать массы для ускорения революции. Подобная организационная логика более подходит к фабричному производству, которое имеет установившийся режим, известные технологии и ежедневную заработную плату, чем к крайне неопределенному порядку и весьма рискованным усилиям революции. Тем не менее такова была модель организации, которая выстраивалась из ленинской аргументации.

Чтобы уловить картину ленинских утопических надежд на авангардную партию, интересно соотнести ее с «массовыми упражнениями», необычайно популярными как среди реакционных (вербующих себе новых сторонников), так и среди левых движений в начале XX в. Они проводили демонстрации на огромных стадионах или на площадях для парадов, в них участвовали тысячи молодых мужчин и женщин, натренированных двигаться одновременно. Чем сложнее были их движения, которые исполнялись под ритмичную музыку, тем внушительнее было зрелище. В 1891 г. на II национальном конгрессе движения «Сокол» (чешской гимнастической и физкультурной организации, которая поддерживала

национализм и объединяла не меньше 17 тыс. чехов) были продемонстрированы сложнейшие скоординированные движения[389]. В основном идея массовых упражнений состояла в показе поражающего порядка, тренированности и дисциплины, которые идут сверху, внушают благоговейный страх и участникам, и зрителям, а также в демонстрации организующей власти. Такие спектакли предполагали, даже требовали единого централизованного руководства, которое планировало представление и руководило им[390]. Не удивительно, что новые массовые партии всех направлений обычно считали такого рода публичные выступления вполне совместимыми с их организационной идеологией. Ленин не мог себе и представить, что российские социал-демократы смогут когда-либо организовать нечто столь согласованное и дисциплинированное. Тем не менее это явно была та самая модель централизованного управления, к которой он стремился, и, следовательно, критерий, с помощью которого он оценивал свои достижения.

Ленин и Ле Корбюзье, несмотря на большую разницу в их образовании и целях, разделяли некоторые основные элементы высокомодернистского взгляда на мир. Хотя научные притязания каждого из них могут показаться нам не внушающими доверия, оба они верили в существование ведущей науки, которая служила утверждению власти небольшой элиты, занимающейся планированием. Ле Корбюзье верил, что научные истины современного строительства и умелого проектирования наделили его правом заменить противоречивый, хаотический, исторически устоявшийся город утопическим. Ленин верил, что наука диалектического материализма дала партии уникальное понимание революционного процесса изнутри и наделила ее правом заявить о своем руководстве рабочим классом, столь плохо организованным и идеологически заблуждающимся. Оба были убеждены, что их научное знание дает единственно верные ответы на то, как следует проектировать города и совершать революции. Уверенность каждого в своем методе означала, что ни той науке, которая проектировала города, ни той, что проектировала революции, не приходилось сталкиваться с существующими практиками и ценностями подвластных им людей, о счастье которых шла речь. Напротив, каждый из них с нетерпением ждал того момента, когда он примется за перекройку человеческого материала, попавшего в его руки. Своей конечной целью они считали улучшение условий человеческого существования, и оба пытались достигнуть ее глубоко иерархическими и авторитарными методами. Работы обоих наполнены метафорами, взятыми из военной области и теории машин: для Ле Корбюзье дом и город были машинами для жилья, а для Ленина партия авангарда была машиной революции. В их записях появляются вполне естественно обращения к централизованным формам бюрократического управления, особенно в примерах с фабриками и выступлениями на параде[391]. Без сомнения, они занимали место среди наиболее перспективных и грандиозных фигур высокого модернизма, но в то же время были его вполне типичными представителями.

Теория и практика: революции 1917 г.

Детальная оценка двух российских революций 1917 г. (Февральской и, главным образом, Октябрьской) увела бы нас слишком далеко. Однако есть резон кратко перечислить некоторые из основных параметров, по которым действительный революционный процесс немного напоминал организационные теории, отстаиваемые в работе «Что делать?». Высокомодернистская схема революции более не подкреплялась практикой, а

высокомодернистские планы для Бразилиа и Чандигарха были рождены практикой. Наиболее кричащий факт, относящийся к российской революции, состоял в том, что ею ни в какой степени не руководила авангардная партия большевиков. В чем Ленин блестяще преуспел, так это в захвате власти, как только революция стала свершившимся фактом. Ханна Арендт кратко высказалась по этому поводу: «Большевики нашли власть, лежащую на улице, и подобрали ее»[392].

И.Х. Карр, которым написано одно из самых ранних и наиболее полных исследований революционного периода, заключает, что «вклад Ленина и большевиков в ниспровержение царизма был незначительным» и что на самом деле «большевизм проследовал к пустому трону». И Ленин не был наделен даром предвидения стратегической ситуации, каким обладают главнокомандующие. В январе 1917 г., за месяц до Февральской революции, он с горечью писал: «Мы, люди старшего поколения, можем не увидеть решающих сражений грядущей революции»[393]

Действительно, накануне революции большевики имели слабую поддержку рабочего класса, в основном среди неквалифицированных рабочих Москвы и Санкт-Петербурга. Преобладало влияние эсеров, меньшевиков, анархистов. Были также и неприсоединившиеся. Более того, связанные с большевиками рабочие редко подчинялись чему-либо, похожему на иерархическое руководство, описанное в «Что делать?». Ленин желал революционных действий потому, что благодаря им большевики получили бы возможность формировать твердую, дисциплинированную, управляемую структуру. Ничто не могло быть лучше настоящего дела. Но в одном из важных аспектов революция 1917 г. была очень похожа на потерпевшую неудачу революцию 1905 г. Восставшие рабочие заняли фабрики и захватили муниципальную власть, а в сельской местности крестьянство начало отнимать у помещиков землю, нападать на налоговых чиновников. Ни одно из этих действий, ни в 1905 г., ни в 1917 г. не было вызвано большевиками или другим революционным авангардом. В 1917 г. рабочие, стихийно организовавшие Советы для управления каждой фабрикой, часто игнорировали инструкции ими же выбранного Исполнительного комитета Советов, не говоря уже о большевиках. Что касается крестьянства, то оно использовало возможность, данную им политическим вакуумом в центре, для восстановления общинного контроля над землей и ввело свое местное понятие о правосудии. Большинство крестьян никогда даже не слышало о большевиках, не говоря уже о предполагаемом выполнении их распоряжений.

Что действительно должно поразить любого читателя детальных отчетов о событиях конца октября 1917 г., так это преобладание чрезвычайного хаоса и местных стихийных беспорядков[394]. В такой политической обстановке сама идея централизованного управления была неправдоподобной. Военные историки и дальновидные обозреватели всегда понимали, что в случае сражения командование обычно колеблется. Генералы теряют контакт со своими войсками и не способны уследить за быстро меняющимся ходом боя; издаваемые ими приказы, достигнув поля битвы, перестают соответствовать ситуации[395]. В ленинском же варианте командно-исполнительная структура вряд ли могла и колебаться, так как она никогда не занимала доминирующего положения. По иронии судьбы у самого Денина были разногласия с партийным руководством (многие из представителей которого находились за решеткой), и накануне революции его критиковали

как безрассудного путчиста.

В 1917 г. новыми обстоятельствами, которые сделали революционный взрыв более вероятным, чем в 1905 г., были Первая мировая война и особенно военное поражение русской армии в Австрии. Тысячи солдат бросали оружие и возвращались домой. Временное правительство Александра Керенского практически не имело возможности для организации защиты от них. Именно в этом смысле большевики «проследовали к пустому трону», хотя небольшое военное восстание 24 октября под руководством Ленина и нанесло решающий удар. То, что происходило в последующем, вплоть до 1921 г., лучше всего назвать *отвоевыванием* России неоперившимся большевистским государством. Это была не просто гражданская война против «белых», а война против самостоятельных сил, захвативших местную власть при революции[396] и в свою очередь боровшихся за уничтожение независимой власти Советов, установление сдельной оплаты труда, контроля над рабочей силой и отмену права рабочих на забастовки. Крестьянам же большевистское государство постепенно навязало политический контроль (вместо общинной власти), принудительную сдачу зерна и, в конечном счете, коллективизацию[397]. Процесс становления большевистского государства привел к большому количеству насильственных актов против своих же бывших приверженцев, в частности подавление восстаний в Крондштадте, Тамбове, махновщины на Украине.

Модель авангардной партии, так отчетливо изображенная в «Что делать?», является впечатляющим примером управленческо-исполнительской команды. Однако в применении к действительному революционному процессу она оказалась несбыточной мечтой, не имеющей никакого отношения к фактам. К сожалению, описание модели оказалось точным лишь при реализации государственных полномочий после революционного захвата власти. Как оказалось, структура власти, которая, как надеялся Ленин, будет служить делу революции, на самом деле была извечной «диктатурой пролетариата». И, конечно, рабочие и крестьяне не были согласны с властью, повелительно навязанной государством.

Написанная революционерами официальная история о том, как они пришли к власти, содержит хорошо подогнанные исторические факты. Поскольку большинство граждан привыкло верить аккуратно оформленному отчету вне зависимости от того, точен ли он, в дальнейшем такая история только увеличивает их уверенность в прозорливости, добрых намерениях и прочности власти революционных лидеров. Стандарт «только такой» истории революционного процесса — возможно максимальное государственное упрощение. Она служит разнообразным политическим и эстетическим целям, которые, в свою очередь, помогают объяснить принимаемую ею форму. Конечно, в первую очередь именно наследники революционного государства, безусловно, заинтересованы в изображении себя в качестве главных вдохновителей исторического события. Такой отчет подчеркивает их исключительность как руководителей и организаторов, а в случае Ленина хорошо соответствует провозглашенной большевиками идеологии. Санкционированные повествования о революции, как указывает Милован Джилас, «описывают революцию так, как будто это был результат заранее запланированного действия его лидеров»[398]. Нет даже необходимости прибегать ни к цинизму, ни ко лжи. Для лидеров и генералов совершенно естественно преувеличивать свое влияние на события, потому что именно так выглядит мир из окон их кабинетов, и вряд ли в интересах их подчиненных противоречить

этой картине.

После захвата государственной власти победители очень заинтересованы в перемещении революции с улиц в музеи и учебники, настолько быстро, насколько это возможно, чтобы люди не решились повторить этот опыт[399]. Схематический отчет, выдвигающий на первый план решительность горстки лидеров, укрепляет законность их действий, акцентирует внимание на единстве и сплоченности, а главная его цель — сделать происшедшее неизбежным и потому, как можно надеяться, окончательным. Пренебрежительное отношение к самостоятельности народного действия служит дополнительной задаче — показать, что рабочий класс не способен к самостоятельности без внешнего руководства[400]. Этот отчет, кроме того, не упускает возможности назвать по имени внутренних и внешних врагов революции, подобрав подходящие цели для выражения ненависти и мести.

Так создается и поддерживается стандартная версия истории, которая призвана закрепить именно такой исторический процесс, уничтожив свидетельства случайности. Принимавшие участие в «русской революции» обнаружили для себя этот факт несколько позже, когда революция уже свершилась. Точно так же ни один из исторических участников, скажем, Первой мировой войны или битвы при Булже, не говоря уже об эпохах Реформации и Ренессанса, не знал в момент события, что он участвует в чем-то таком, что потом войдет в историю. Поскольку в конце концов события *действительно* происходят по причинам, которые выясняются только в ретроспективе, то не удивительно, что результат должен казаться неизбежным. Все забывают, что это можно объяснить и совершенно иначе[401]. В этой забывчивости еще один шаг к утверждению революционного триумфа[402].

Когда такие победители, как Ленин, берутся за изложение своих теорий революции — не столько самих революционных событий, сколько официальной послереволюционной истории, рассказ, как правило, подчеркивает организованность, целенаправленность и гениальность революционного руководства и преуменьшает долю случайности[403]. Финальная ирония состояла в том, что официальная история большевистской революции писалась более 60 лет для того, чтобы подтвердить утопические директивы, высказанные в «Что делать?»

Ленинская работа «Государство и революция»

Позднего Ленина в работе «Государство и революция» часто противопоставляют Ленину периода «Что делать?» для демонстрации существенного изменения в его взглядах на отношения партии авангарда и масс. Нет сомнения, многие из интонаций Ленина в брошюре, написанной с головокружительной быстротой в августе и сентябре 1917 г. после Февральской революции и как раз перед Октябрьской революцией, трудно согласовать с текстом 1903 г. Существовали важные тактические причины, почему в 1917 г. Ленин призывал народ совершать как можно больше самостоятельных революционных выступлений. Он вместе с другими большевиками был обеспокоен тем, что многие рабочие, ставшие теперь хозяевами своих фабрик, как и многие российские горожане, теряют свой революционный пыл, позволяя временному правительству Керенского сохранить власть и заблокировать активность большевиков. Для большевиков-ленинцев буквально все зависело

от дестабилизации режима Керенского, пусть даже массы не подчинятся большевистской дисциплине. Не удивительно, что даже в начале ноября перед тем, как большевики укрепились во власти, ленинские речи звучали во многом анархически: «Социализм не создается приказами сверху. Государственный бюрократический автоматизм чужд его духу; социализм живой и творческий — создание самих народных масс»[404].

При общем эгалитаристском и утопическом тоне «Государства и революции», который вторит марксистскому описанию коммунизма, поразителен уровень наполнения этого текста ленинскими высококомодернистскими убеждениями. Во-первых, у Ленина нет сомнений, что применение принудительной государственной власти — единственный путь строительства социализма. Он открыто признает необходимость насилия после захвата власти: «Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров, и для *руководства* громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства»[405]. Снова марксизм обеспечивает идеи и организует обучение, поскольку только оно и может сформировать сознание рабочих масс: «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и *вести весь народ* к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии»[406]. Предполагается, что общественная жизнь рабочего класса будет организована или буржуазией, или авангардной партией, но ни в коем случае не самими представителями рабочего класса.

В то же самое время Ленин разглагольствует о новом обществе, где политике придется исчезнуть и где фактически любому можно будет доверить управление делами. Образцом для ленинского оптимизма служили действительно огромные человеческие механизмы того времени: промышленные организации людей и большой бюрократический аппарат. В ленинском изображении развитие капитализма создало аполитичную техноструктуру, которая растет вместе с ним: «Капиталистическая культура *создала* крупное производство, фабрики, железные дороги, почту, телефоны и пр., а *на этой базе* громадное большинство функций старой «государственной власти» так упростилось и может быть сведено к таким простейшим операциям регистрации, записи, проверки, что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям, что эти функции вполне можно будет выполнять за обычную «заработную плату рабочего», что можно (и должно) отнять у этих функций всякую тень чего-либо привилегированного, «начальственного»[407]. Ленин вызывает в воображении образ совершенной технической рациональности современного производства. Как только «простые операции», соответствующие каждой нише в установленном распределении рабочей силы, освоены, буквально нечего больше обсуждать. Революция вытесняет буржуазию с капитанского мостика этого «океанского лайнера», водворяет на ее место передовую партию и устанавливает новый курс, но рабочие места большой команды неизменны. Следует заметить, что ленинская картина технической структуры полностью статична. Формы производства установлены раз и навсегда, а если они все-таки изменяются, то эти изменения не должны требовать особых навыков.

Утопическое обещание такого капиталистически обустроенного положения дел состоит в том, что любой может принять участие в управлении государством. Развитие капитализма породило массовидные бюрократические аппараты, а также «обучение и дисциплинирование миллионов рабочих»[408]. Взятые вместе эти огромные централизованные бюрократические аппараты были ключами к новому миру. Ленин обнаружил их в Германии под руководством Ратенау. Наука и разделение труда породили институциональный порядок технической экспертизы, где политике и раздорам не было места. Современное производство обеспечило необходимое основание для технически необходимой диктатуры. «В отношении ... важности единоличных диктаторских полномочий, — отмечал Ленин, — надо сказать, что всякая крупная машинная индустрия — то есть именно материальный источник и фундамент социализма [—]... требует безусловного и строжайшего *единства воли*, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей... Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного... Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм масс с железной дисциплиной во время труда, с *беспрекословным повиновением* воле одного лица — советского руководителя»[409].

Ленин присоединяется ко многим капиталистическим современникам в своем энтузиазме по поводу фордовской и тейлоровской технологии производства. То, что было отклонено западными профсоюзами того времени как «недостаточность квалификации» рабочей силы, было принято Лениным как ключ к рациональному государственному планированию[410]. Для Ленина существует единственный, объективно верный и разумный ответ на все вопросы, касающиеся того, как рационально спроектировать производство или управление[411].

Ленин продолжает представлять себе в фурьеристском духе обширный национальный синдикат, который будет самостоятельно вести дела. Он видит его как техническую сеть, в ячейках которой заключены рабочие, приученные к порядку рациональностью и привычной дисциплиной. В следующем жутком отрывке, как будто взятом у Оруэлла, содержится предупреждение, возможно, анархистам или деклассированным элементам, которые станут сопротивляться его логике. В нем Ленин указывает, насколько безжалостной будет система: «Уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно станет таким невероятно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием (ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентки, и шутить они с собой едва ли позволят), что *необходимость* соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет *привычкой*»[412].

Несмотря на то, что ленинская утопия более эгалитарна и разработана в контексте диктатуры пролетариата, в ней видны соответствия с высоким модернизмом Ле Корбюзье. Социальный порядок представляется как огромная фабрика или офис — «мягко жужжащий механизм», вставил бы Ле Корбюзье, где «каждый человек живет в определенном отношении к целому». И не только Ленин и Ле Корбюзье придерживались этого взгляда, хотя, конечно, они были исключительно влиятельными. Эти соответствия служат напоминанием о том, сколь многое во взглядах левых и правых социалистов зависело от

шаблона современной индустриальной организации. Сходные утопии, «мечта об авторитарном, военном, эгалитарном и бюрократическом социализме, в которой содержалось открытое восхищение достоинствами Прусского государства», можно найти у Маркса, у Сен-Симона и в научной фантастике, которая была широко популярна в то время в России, особенно перевод Эдварда Беллами «Ожидание прошлого»[413]. Высокий модернизм был политически полиморфным, он мог появиться в любом политическом обличье, даже в анархистском.

Ленин об аграрном вопросе

Чтобы составить мнение о последовательности ленинского высокого модернизма, нам нужно обратиться к его работам по сельскому хозяйству — сфере, где высокомодернистские взгляды горячо оспаривались. Основу для понимания можно получить из единственной работы «Аграрный вопрос», написанной между 1901 и 1907 гг.[414]

Этот текст содержал осуждение маломасштабного семейного фермерства и восхваление гигантских, высокомеханизированных форм современного сельского хозяйства. Для Ленина в этом был не только вопрос выбора масштаба, но и историческая неизбежность. Различие между семейным фермерством с примитивной технологией и крупномасштабным, механизированным ведением сельского хозяйства можно сравнить с различием между примитивными ручными ткацкими станками в кустарных мастерских и механизированными на больших текстильных фабриках. Первый способ производства был просто обречен. Ленинская аналогия была заимствована у Маркса, который часто использовал ее, говоря, что ручной ткацкий станок дает пример феодализма, а мощный ткацкий станок — пример капитализма. Этот образ был столь плодотворен, что Ленин возвращался к нему в другом контексте, восклицая, например, в «Что делать?», что его противники, экономисты, использовали «кустарные методы», в то время как большевики действовали как профессиональные (современные, образованные) революционеры. Крестьянские формы производства, не говоря уже о самих крестьянах, для Ленина были безнадежно отсталыми. Он считал их простыми историческими рудиментами, которые, несомненно, следовало уничтожить аграрным эквивалентом крупной машинной промышленности, как это произошло когда-то с кустарной ткацкой промышленностью. «Прошло два десятилетия, — писал он, — и машины привели мелкого производителя от одного из его последних прибежищ к техническому прогрессу, как будто говоря: имеющие уши, да услышат, имеющие глаза, да увидят, что экономный хозяин всегда должен смотреть в будущее, иначе он останется позади, потому что тот, кто не смотрит вперед, движется по истории вспять, среднего пути нет и не может быть»[415]. Здесь, как и в других своих работах, Ленин осудил все методы возделывания земли, связанные с общепринятой общинной трехпольной системой севооборота, все еще свойственной большей части России. Здесь идея общинной собственности мешала полному развитию капитализма, который, в свою очередь, был условием совершения революции. «Современная сельскохозяйственная технология, — заключал он, — требует, чтобы все древние, консервативные, варварские, невежественные и убогие методы ведения хозяйства на крестьянских наделах были преобразованы. Трехпольная система, примитивные орудия труда, патриархальная бедность земледельца, рутинные методы ведения животноводства и полнейшее дикарское игнорирование условий и требований рынка должны быть выброшены за борт»[416].

Однако приложимость логики, заимствованной у промышленности, к сельскому хозяйству сильно оспаривалась. Многие экономисты детально исследовали распределение труда, производство и расходы хозяйств сельских производителей. Возможно, некоторые из них чисто идеологически выступали за продуктивность мелкой собственности, но те, о которых идет речь, обладали багажом эмпирической очевидности и могли предъявить ее[417]. Они утверждали, что природа сельскохозяйственного производства по большей части такова, что экономическая прибыль от механизации незначительна, если сравнивать ее с прибылью от интенсификации (которая заключалась в удобрении навозом, кропотливом ведении животноводства и т. д.). Они доказывали, что прибыль от семейного хозяйства размером больше среднего также минимальна и даже отрицательна. Ленин мог бы принять все эти доводы менее серьезно, если бы они были основаны на данных о России, где отсталость сельской инфраструктуры препятствовала механизации и коммерческому производству. Но большинство сведений относилось к Германии и Австрии, развитым странам, где упомянутые мелкие фермеры вели товарное хозяйство в полном соответствии с рыночными законами[418].

Ленин намеревался опровергнуть данные об эффективности и конкурентоспособности семейного ведения сельского хозяйства. Он воспользовался противоречивостью этих эмпирических сведений и использовал публикации двух ученых, русского и немца, чтобы выступить против них же. Если данные казались непроверяемыми, Ленин восклицал, что мелкие фермеры, которые действительно выжили, смогли это сделать только потому, что они сами, их жены и дети, их коровы и лошади голодали и работали сверхурочно. Какую бы прибыль ни принесла маленькая ферма, все это приписывалось переработке и недоеданию. Хотя такие примеры «самоэксплуатации» были вполне обычны среди крестьянских семей, ленинские доводы не убеждали. Для его (и марксова) понимания способов производства выживание ремесленного ручного труда и мелкого фермерства могло быть только случайным анахронизмом. Мы уже видели, насколько эффективным и крепким может быть мелкое производство, но Ленин не сомневался относительно того, что выберет будущее. «Этот вопрос демонстрирует техническое превосходство крупномасштабного производства в сельском хозяйстве...[и] перерабатывание и недоедание мелкого крестьянина, а также его превращение в постоянного или поденного рабочего у помещика... Факты бесспорно доказывают, что в капиталистической системе положение мелкого крестьянина в сельском хозяйстве во всех отношениях аналогично положению кустарного ремесленника в промышленности»[419].

«Аграрный вопрос» позволяет также оценить дополнительный аспект ленинского высокого модернизма: его восхищение самой современной технологией, и прежде всего электричеством[420]. Его лозунг «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» стал знаменитым. Для него и для большинства других высоких модернистов электричество имело почти таинственную притягательность, которая, как мне кажется, объяснялась уникальными свойствами электричества как формы энергии. В отличие от паровой машины, водяного двигателя и двигателя внутреннего сгорания электричество было *бесшумным*, прецизионным и почти невидимым. Для Ленина и многих других электричество было чем-то магическим. Его важной способностью для модернизации сельской жизни было то обстоятельство, что, как только устанавливались линии передач, энергия могла быть доставлена в требуемом количестве на большие расстояния и

немедленно становилась доступной везде, где в ней нуждались. Ленин ошибался, воображая, что она заменит двигатель внутреннего сгорания в большинстве сельскохозяйственных операций. «Механизмы, берущие энергию от электричества, работают более плавно и точно, и по этой причине их удобнее использовать в молотье, вспашке, доении, подготовке фуража»[421]. Давая энергию в руки всего народа, государство могло уничтожить то, что Маркс называл «идиотизмом сельской жизни».

Для Ленина электрификация была началом искоренения практики мелкобуржуазного землевладения и, следовательно, единственным путем уничтожения «корней капитализма» в сельской местности, которая была «основой, базисом внутреннего врага». Враг «зависит от мелкотоварного производства, и есть только один способ подорвать его, а именно, разместить экономику страны, включая сельское хозяйство, на новом техническом базисе, т. е. на современном крупномасштабном производстве. Только электричество обеспечивает такой базис»[422].

Притягательность электричества для Ленина состояла в основном в его совершенстве, его математической прецизионности. Работа человека и даже парового плуга или молотилки была несовершенна, действие же электрического механизма, напротив, казалось надежным, точным и непрерывным. Следует добавить, что с электричеством была связана также и централизация[423]. Оно создавало видимую сеть линий электропередач, идущих от центральной электростанции, которая генерировала поток энергии, распределяемой и контролируемой. Природа электричества очень подходила ленинской утопии, прекрасно подчеркивая картину централизации. Карта электрических линий от генерирующей станции представляла собой лучи, исходящие из единого центра, как в Париже (см. гл. 1), только направление транспортного потока было односторонним. Линии электропередач обеспечили бы нацию таким количеством энергии, что географические расстояния были бы преодолены. Электричество уравнило бы доступ к существенной части благ современного мира и, между прочим, дало бы свет — как в буквальном, так и в переносном смысле — *народу* (буквально, «темным людям»)[424]. Наконец, электричество позволяло и практически требовало планирования и расчетов. Воздействие электричества было очень похоже на воздействие социалистического государства — как надеялся Ленин.

По Ленину, во многом такая же логика развития применялась для высшего руководства авангардной партии, фабрик и ферм. Профессионалы, техники и инженеры сменили бы дилетантов на постах руководителей. Преобладала бы централизованная власть, базирующаяся на науке. Как у Ле Корбюзье, степень функциональной спецификации внутри организации, степень порядка, обеспеченного установившейся практикой и взаимозаменяемостью единиц, и уровень механизации были бы критериями высшей эффективности и рациональности. Что касается ферм и заводов, чем больше они были и чем интенсивнее было капиталовложение в них, тем лучше. В ленинской концепции сельского хозяйства можно заметить навязчивую идею машинно-тракторных станций, организации больших совхозов и, в конечном счете, коллективизации (произошедшей уже после смерти Ленина) и даже высокомодернистский дух, который вел к таким обширным схемам заселения земель, как целинная инициатива Хрущева. В то же время ленинские взгляды имеют сильные российские корни. Они имеют родовое сходство с проектом Санкт-Петербурга Петра I и громадным проектом военных поселений, основанных Алексеем

Аракчеевым под покровительством Александра I в начале XIX в. — оба проекта были предназначены вывести Россию в современный мир.

Сосредоточась на ленинском высоком модернизме, мы рискуем упростить позицию исключительно сложного мыслителя, чьи идеи и действия были богаты противоречиями. Во время революции он одобрял захват общинных земель и самостоятельные действия и хотел, чтобы сельские Советы «учились на своих ошибках»[425]. В конце разрушительной гражданской войны, во время кризиса продразверстки он решил отложить коллективизацию и поощрял мелкотоварное производство и мелкооптовую торговлю. Некоторые полагали, что в своих последних письмах он был благосклоннее настроен по отношению к крестьянскому фермерству и, вероятно, не навязал бы жестокую коллективизацию, которую Сталин приказал провести в 1929 г.

Несмотря на силу этих оговорок, на мой взгляд, довольно мало причин полагать, что Ленин когда-либо отказался бы от сути своих высокомодернистских убеждений[426]. Это очевидно даже в том, как он объясняет свое тактическое отступление после Крондштатского восстания в 1921 г. и продолжающийся продовольственный кризис в городах: «Пока мы не переделаем крестьянина, ... пока крупное машинное оборудование не переделает его, мы должны убедить его в возможности ведения хозяйства без ограничений. Мы должны найти формы сосуществования с мелким хозяином, ... так как переделка мелкого хозяина, изменение всей его психологии и его привычек — задача, требующая поколений»[427]. Если это и тактическое отступление, то утверждение, что переделка крестьян займет поколения, звучит довольно либерально — во всяком случае, не как строгий приказ генерала, собирающегося скоро возобновить наступление. С другой стороны, ленинская вера в механизацию как ключ к преобразованию непокорной человеческой природы не стала меньше. Новой выглядит только скромная умеренность рассуждения — результат мощного крестьянского сопротивления — о том, насколько извилистым и долгим будет путь к современному социализированному сельскому хозяйству, но перспектива в конечном счете выглядит так же.

Люксембург: врач и акушерка революции

Роза Люксембург была больше чем просто современница Ленина. Она тоже была истовым революционером и марксистом, ее и Карла Либкнехта предательски убили в 1919 г. в Берлине по приказу ее менее революционных союзников. Джейн Джекобс критиковала Ле Корбюзье и высокомодернистское планирование города вообще, но Ле Корбюзье, конечно, никогда не слышал о Джекобс до самой своей смерти. Ленин, напротив, встречался с Люксембург. Они писали в основном для одной и той же аудитории, знали мнения друг друга, и Люксембург категорически опровергала ленинские доводы в пользу авангардной партии и ее роли в революционном процессе по отношению к пролетариату. Мы будем рассматривать в основном работы, в которых Люксембург наиболее непосредственно противостоит ленинским высокомодернистским взглядам: «Организационные вопросы Российской социал-демократии» (1904 г.), «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» (1906 г.) и ее посмертно изданная «Русская революция» (написанная в 1918 г. и впервые изданная в 1921 г. после Кронштадтского восстания).

Наиболее резкие отличия взглядов Люксембург от ленинских заключались в том, что она верила в самостоятельный творческий потенциал рабочего класса. Ее оптимизм в работе «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» частично обязан тому факту, что она была написана, в противоположность работе «Что делать?», после наглядного примера активности рабочих в революции 1905 г. Работа же «Организационные вопросы Российской социал-демократии» была написана до событий 1905 г. и непосредственно в ответ на работу «Что делать?». Это эссе было ключевым текстом в отказе Польской социалистической партии войти в состав Российской социал-демократической партии под ее центральным руководством[428].

Подчеркивая различия между взглядами Ленина и Люксембург, не следует упускать из виду, что по общим идеологическим вопросам они придерживались одинаковых мнений. Они разделяли, например, марксистские воззрения на противоречивость капиталистического развития и неизбежность революции. Они оба были врагами градуализма и в отношениях с неревolutionными партиями были готовы идти только на тактические компромиссы. Даже в стратегическом плане они оба приводили доводы в пользу важности авангардной партии на том основании, что авангардная партия лучше видит ситуацию в целом («все целиком»), тогда как большинство рабочих, вероятнее всего, видит только местную ситуацию и свои собственные интересы. Ни Ленин, ни Люксембург не знали того, что могло бы быть названо социологией партии, т. е. им не приходило на ум, что интересы партийной интеллигенции и рабочих могут не совпадать. Они скорее разбирались в социологии профсоюзной бюрократии, но не в социологии революционной марксистской партии.

Люксембург, к слову сказать, не лучше Ленина пользовалась сравнением с фабричным управляющим, чтобы объяснить, почему рабочий должен следовать инструкциям для достижения более значительного результата, неочевидного для него заранее. Различия проявляются только в том, до каких пределов доходит эта логика. Для Ленина абсолютно все было в руках авангардной партии, которая имела монополию на знание. Он вообразил всевидящий центр — око в небе, не меньше, — где формируются основания для строго иерархических действий, в которых пролетариату отводится роль простой пехоты или, хуже того, пешек. Для Люксембург партия могла видеть значительно дальше рабочих, однако рабочие, которыми она предположительно руководила бы, постоянно бы ее удивляли и преподавали бы ей новые уроки. Люксембург рассматривала революционный процесс как явление более сложное и непредсказуемое, чем его видел Ленин, — так же как Джекобс видела преуспевающие городские районы более сложными и полными неожиданностей, чем Ле Корбюзье. Метафоры, которые использовала Люксембург, как мы увидим, были весьма показательными. Воздерживаясь от военных, строительных и фабричных параллелей, она чаще писала о росте, развитии, накоплении опыта и учении[429].

Мысль о том, что авангардная партия могла назначать или запрещать массовую забастовку подобно тому, как командующий мог приказывать своим солдатам идти на передовую или оставаться в казармах, поражала Люксембург своей нелепостью. Любая попытка таким образом проектировать забастовку была не только нереалистична, но и безнравственна. Она отвергала отношение к рабочим как к инструменту, лежащее в основе такого подхода. «Обе тенденции [назначение или запрещение забастовки] демонстрируют такое же чисто анархистское [*sic*] представление, что массовая забастовка есть просто техническое средство борьбы, которое может быть „разрешено“ или „запрещено“ с чьего-то позволения, согласно чьим-то знаниям и сознанию, как какой-нибудь складной нож, который кто-то хранит сложенным в кармане „на всякий случай“ или же решает открыть его и использовать»[430]. Всеобщая забастовка и революция были сложными социальными событиями, вовлекающими энергию и знания многих разных людей, а авангардная партия была только одним из его элементов этого события.

Революция как живой процесс

Люксембург рассматривала забастовки и политическую борьбу как диалектические и исторические процессы. Структура экономики и рабочей силы помогала определять форму, но не суть предоставляемых возможностей. Так, при кустарной и географически рассеянной промышленности забастовки были обычно маломасштабными и также разбросанными. Однако каждый раз забастовки сопровождалась изменениями в структуре капитала. Если, например, рабочие добиваются повышения заработной платы, ее увеличение может вызвать ответные реакции в промышленности, механизации и новых структурах управления, каждая из которых будет влиять на характер следующего круга забастовок. К тому же, конечно, забастовка обычно преподавала рабочим новые уроки и изменяла степень сплоченности и характер руководства[431].

Такая ориентация на процесс и человеческий материал послужила Люксембург предупреждением против узкого взгляда на тактику. Забастовка или революция не были просто целью, к которой тактика и руководство должны были быть направлены, процесс,

ведущий к ней, одновременно и формировал характер рабочего. Как революция была организована, имело не менее важное значение, чем то, была ли она организована вообще, — сам процесс имел важные последствия.

Люксембург считала, что ленинское желание превратить партию авангарда в военный штаб рабочего класса и крайне нереалистично, и безнравственно. Его иерархическая логика игнорировала неизбежную самостоятельность рабочего класса (поодиночке или в группах), собственные интересы и действия которого никак нельзя запрограммировать по строгому образцу. И более того, если бы подобную дисциплину можно было просто установить, партия лишила бы себя независимой творческой силы пролетариата, которая в конце-то концов и была причиной революции. Вместо ленинского стремления к контролю и порядку Люксембург выбирала неизбежную беспорядочность, шумную и живую картину крупномасштабного социального действия.

«Вместо фиксированной и пустой схемы трезвого политического действия, выполненного по благоразумному плану, составленному самыми высокими комитетами, — писала она, явно намекая на Ленина, — мы видим яркую жизнь во плоти и крови, которую нельзя вырезать из большей картины революции»[432]. Противопоставляя свое понимание ленинскому, она последовательно выбирала сравнения со сложными органическими процессами, без которых нельзя себе представить жизнь. Идея о том, что рациональный и иерархический исполнительный комитет может развертывать пролетарские отряды по своему желанию, не только не соответствовала реальной политической жизни, но была и сама по себе мертвой и ложной[433].

В своей критике работы «Что делать?» Люксембург ясно дала понять, что ценой установления централизованной власти будет потеря творчества и инициативы снизу: «Та „дисциплина“, которую Ленин имеет в виду, внедрена в пролетариат не только фабрикой, но и бараками, современной бюрократией, всем механизмом централизованного буржуазного государственного аппарата... Ультрацентризм, защищаемый Лениным, пропитан по самой его сути бесплодным духом *ночного сторожа* (Nachtwachtergeist), а совсем не позитивным и творческим духом. Он заботится больше о *контроле* партии, а не о *плодотворности*, ее работы, о *сужении*, а не о *развитии*, о *регламентации*, а не о *объединении*»[434].

Суть разногласий между Лениным и Люксембург легко улавливается в особенностях выразительности речи каждого. Ленин выступает как жесткий учитель, пришедший дать вполне определенные уроки, — учитель, который ощущает невнимание своих учеников и непременно хочет держать их в строгости для их же собственной пользы. Люксембург также видит это невнимание, но она принимает его как признак имеющейся энергии, как потенциально ценный ресурс, она боится, что чрезмерно строгий учитель уничтожит энтузиазм учеников и получит угрюмую, удрученную аудиторию, которую невозможно ничему научить. К слову сказать, в другой работе она доказывает, что немецкие социал-демократы своими постоянными попытками Установить строгий контроль и дисциплину деморализовали немецкий рабочий класс[435]. Ленин видит возможность влияния учеников на слабого и робкого преподавателя и порицает это как опасный контрреволюционный шаг. Люксембург, для которой работа в классе означает подлинное сотрудничество, без

колебаний предполагает возможность получения учителем ценных уроков от своих учеников.

Начав рассматривать революцию как сложный естественный процесс, Люксембург поняла, что роль авангардной партии неизбежно ограничена. Такие процессы слишком сложны, чтобы быть понятными, не говоря уже о действиях, разработанных и спланированных заранее. Глубокое впечатление произвели на нее самостоятельные народные выступления по всей России после расстрела толпы перед Зимним дворцом в 1905 г. В своем описании, которое я привожу здесь подробно, она прибегает к природным метафорам, чтобы передать глубокую убежденность в том, что централизованный контроль — иллюзия.

“ Как показывает Русская революция [1905 г.], массовая забастовка — это такое изменчивое явление, которое отражает в себе все фазы политической и экономической борьбы, все стадии и моменты революции. Ее точки приложения, эффективность и моменты начала непрерывно меняются. Внезапно она открывает новые широкие перспективы революции как раз там, где казалось, что она полностью зашла в тупик, и разочаровывает, когда сложилась полная уверенность, что на нее можно положиться. То она льется широким потоком по всей земле, то разделяется на гигантскую сеть тонких ручьев, то бьет из-под земли ключом, подобно свежему источнику, то разливается по земле тонким слоем... Все [формы народной борьбы] действуют одна через другую, рядом с друг другом, поперек друг другу, втекают в одну и вытекают из другой, это — вечное, движущееся, изменяющееся море проявлений[436].

Массовая забастовка не была тактическим изобретением авангардной партии, которое она могла бы использовать в подходящий момент. Она была скорее «энергичным бьющимся пульсом революции и в то же время ее наиболее мощным маховиком, ... феноменальной формой пролетарской борьбы за революцию»[437]. С точки зрения Люксембург, Ленин выглядел инженером, надеющимся сдержать мощную реку, чтобы выпустить ее при одном только всплеске обширного наводнения, которое и будет революцией. Она полагала, что «наводнение» массовой забастовки нельзя предсказать и управлять им нельзя, что профессиональные революционеры не могут повлиять на его ход, хотя могли, как это и сделал в действительности Ленин, приплыть на нем к власти. Интересно, что понимание Розой Люксембург революционного процесса дало возможность показать, как Ленин и большевики пришли к власти, лучше, чем это было сделано в утопическом сценарии работы «Что делать?» Способность быстро понять процессуальную сторону политического конфликта позволила Люксембург увидеть правильную перспективу тех событий, которые Ленин считал неудачами и тупиками. Размышляя о событиях 1905 г., она подчеркивала, что «каждая бешеная волна политического действия оставляет слой плодородного ила, из которого выстреливает тысяча ростков экономической борьбы»[438]. Аналогия с органическими процессами передавала как их самостоятельное развитие, так и определенную уязвимость. Извлекать из живой ткани пролетарского движения забастовку как особый вид борьбы было бы опасно для всего организма революции. Имея в виду

Ленина, она писала: «Если умозрительная теория предлагает искусственное вскрытие массовой забастовки, чтобы добраться до „чистейшей политической забастовки“, то это вскрытие, как, впрочем, и любое другое, не постигнет явление в его живой сущности, а убьет все разом»[439]. Люксембург тогда видела рабочее движение во многом так же, как Джекобс видела город: как запутанный социальный организм, чье происхождение, динамику и будущее довольно трудно понять. Тем не менее ясно, что вметаться и рассечь рабочее движение означает убить его, точно так же, как строгое функциональное разделение города на районы делало его безжизненным чучелом.

Если Ленин подходил к пролетариату как инженер к сырому материалу, думая о том, как использовать его в своих целях, то Люксембург подходила к нему как врач. Как любой пациент, пролетариат имел свою собственную конституцию, которая ограничивала возможные внешние вмешательства. Врач должен уважать пациента и помогать ему в борьбе с болезнью в соответствии с его собственными потенциальными силами и слабостями. Наконец, индивидуальность и история болезни пациента неизбежно повлияли бы на результат. Пролетариат нельзя переделать до основания и аккуратно втиснуть в predetermined проект. Но главной, постоянно возвращающейся темой критики Люксембург Ленина и большевиков была образовательная политика, которой мешали их диктаторские методы и недоверие к пролетариату. Они мешали развитию зрелого самостоятельного рабочего класса, необходимого для революции и строительства социализма. Таким образом, она обвинила и немецких, и русских революционеров в том, что они вместо эго пролетариата выставляют эго авангардной партии — подмена, игнорирующая тот факт, что цель состояла в *создании* сознательного рабочего движения, а не в использовании пролетариата в качестве инструмента. Как проникнутый доверием к своему подопечному и сочувствующий ему опекун, она предвидела возможность заблуждений как часть процесса познания. «Однако ловкий акробат, — говорит она, имея в виду социал-демократическую партию, — не в состоянии увидеть, что истинный субъект, кому предназначена роль режиссера, есть коллективное эго рабочего класса, настаивающее на своем праве делать ошибки и самому учиться исторической диалектике. Мы должны, наконец, честно признать, что ошибки, совершенные настоящим революционным рабочим движением, с точки зрения истории бесконечно более плодотворны и ценны, чем непогрешимость наилучшего из всех возможных „центральных комитетов“»[440].

Почти пятнадцатью годами позже, через год после большевистского захвата власти в октябре 1917 г., Люксембург обвиняла Ленина точно в тех же выражениях. Ее предупреждения о направлении, в котором двигалась диктатура пролетариата, сделанные сразу после революции, выглядят пророческими.

Она была уверена, что Ленин и Троцкий полностью извратили понимание диктатуры пролетариата. Для нее она означала господство всего пролетариата, который требовал самых широких политических свобод для всех рабочих (но не для вражеских классов), чтобы они могли использовать свое влияние и мудрость для строительства социализма. Это отнюдь не означало, как предлагали Ленин и Троцкий, что тесный круг партийных лидеров будет от имени пролетариата осуществлять диктаторскую власть. Предложение Троцкого не созывать учредительного собрания ввиду изменений обстоятельств сразило Люксембург — лекарство оказалось хуже, чем сама болезнь.

Только активная общественная жизнь могла исправить недостатки выборных органов. Концентрируя абсолютную власть в нескольких руках, большевики «закрыли выход фонтану политического опыта и источнику этого восходящего развития [достижению более высоких стадий социализма] подавлением общественной жизни»[441].

Бесспорно, тут было не только различие в тактике, но и фундаментальное разногласие в вопросе о природе социализма. Ленин действовал так, как если бы дорога к социализму была уже подробно размечена и задача партии состояла в использовании железной дисциплины партийного аппарата для того, чтобы революционное движение придерживалось этой дороги. Люксембург верила в нечто противоположное этому — что будущее социализма должно быть открыто и разработано в подлинном сотрудничестве рабочих с их революционным государством. Для построения социализма не было ни «готовых рецептов», ни «решения в какой-либо программе социалистической партии или учебнике»[442]. Открытость, которая характеризовала социалистическое будущее, была не недостатком, а скорее признаком его превосходства как диалектического процесса над собранием стандартных формул утопического социализма. Построение социализма происходило на «новой территории. Повсюду тысячи проблем, и только накопленный опыт даст возможность для исправления ошибок и открытия новых путей. Только неестественная в своем течении жизнь распадается на тысячу новых форм и *импровизаций*, зажигает творческую силу, сама исправляет все ошибочные попытки»[443].

Ленинские декреты и террор, а также то, что Люксембург назвала «диктаторской мощью фабричного надзирателя», лишили революцию этой народной творческой силы и опыта. Пока рабочий класс в целом не участвует в политических процессах, добавляет она предупреждающе, «социализм будет устанавливаться декретами из нескольких официальных кабинетов дюжиной интеллектуалов»[444].

Взглянув вперед, на закрытый и авторитарный порядок, который сразу же после революции начал устанавливать Ленин, отметим, что предсказания Люксембург оказались хоть и пугающими, но точными: «Подавление политической жизни по всей стране при Советах убило ее вполне. Без всенародных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь затухает в каждом общественном учреждении... Общественная жизнь постепенно засыпает... На практике руководит только дюжина выдающихся личностей [партийных лидеров], а элита рабочего класса приглашается поплодировать речам лидеров и единодушно одобрить выдвинутые резолюции — вроде бы снизу, усилиями клики,... настоящая диктатура в буржуазном смысле»[445].

Александра Коллонтай и «Рабочая оппозиция» Ленину

Александра Коллонтай, находясь в рядах большевиков, критиковала их после революции во многом так же, как это делала Люксембург. Революционная активистка, глава женского отдела Центрального Комитета (Женотдел), к началу 1921 г. тесно связанная с «Рабочей оппозицией», Коллонтай была занозой в рядах ленинской партии. Ленин расценил резко критический памфлет, который она написала как раз перед X съездом партии в 1921 г., как предательский акт. Этот съезд открылся сразу после организованного подавления Кронштадтского восстания рабочих и моряков и в разгар восстания Махно на Украине. Атака на партийных лидеров в такое тревожное время расценивалась как предательское обращение к «базовым инстинктам масс».

Существовала прямая связь между Люксембург и ее российской коллегой. На Коллонтай в начале XX в. произвела глубокое впечатление работа Люксембург «Социальная реформа или революция», кроме того, она встречалась с Люксембург на совещании социалистов в Германии. Хотя памфлет Коллонтай вторил большинству критических работ Люксембург по поводу централизованной и авторитарной социалистической практики, его исторический фон был другим. Коллонтай излагала свою позицию, будучи членом «Рабочей оппозиции», состоявшей из свободно избранных делегатов Всероссийского съезда профсоюзов — тех самых профсоюзов, которые непосредственно осуществляли планирование и производство. Александр Шляпников, близкий соратник Коллонтай, и другие деятели профсоюзного движения были встревожены усилением доминирующей роли технических специалистов партии, бюрократии и партийного центра, а также привилегированным положением рабочих организаций. Можно еще было понять методы управления по законам военного времени во время Гражданской войны. Но теперь, когда Гражданская война была окончена, направление, в котором шло социалистическое строительство, оказалось у опасной черты. Коллонтай со своей стороны привнесла в профсоюзное движение богатство практического опыта, необходимого для улучшения работы с государственными органами в интересах работающих женщин, для которых организовывались ясли и столовые. В конце концов, «Рабочая оппозиция» была объявлена вне закона, а Коллонтай заставили замолчать, но она успела оставить в назидание потомкам свою пророческую критику[446].

Памфлет Коллонтай резко обрушивался на партийное государство, которое она сравнивала с авторитарным школьным учителем почти в тех же выражениях, что и Люксембург. Прежде всего она утверждала, что отношения между Центральным Комитетом и рабочими стали

абсолютно односторонними и приказными. На профсоюзы смотрели как на простые «связующие нити» или приводные ремни от партии к рабочим, от них ждали «воспитания масс» — как от учителя, чью программу и поурочные планы сначала проверяли и редактировали, а потом только позволяли использовать в работе с учениками. Она обвиняла партию в том, что ее педагогическая теория устарела, в ней нет места для индивидуальности ученика. «Когда начинаешь перелистывать страницы стенограмм речей наших видных лидеров, удивляешься неожиданным проявлениям их педагогической активности. Каждый автор предлагает самую совершенную систему воспитания масс. Но во всех этих системах «обучения» нет условий для свободы эксперимента, для проявления творческих способностей тех, кто обучается. В этом отношении все наши педагоги отстали от времени»[447].

Есть некоторые сведения о том, что работа Коллонтай в интересах женщин имела непосредственное отношение к ее деятельности в «Рабочей оппозиции». Как Джекобс обладала своеобразным взглядом на функционирование города благодаря своим обязанностям домохозяйки и матери, так и Коллонтай видела партию преимущественно как защитницу женщин, работа которых редко принималась всерьез. Она обвиняла партию в том, что та отрицала возможности женщин в организации «творческих проблем в сфере производства и развития творческих способностей» и ограничивала их «узкими задачами ведения хозяйства, обязанностями по дому и т. д.»[448]. Ее собственные переживания по поводу снисходительного отношения к ней как представителю женского отдела кажутся напрямую связанными с ее обвинением партии в том, что она обращается с рабочими как с младенцами, а не как с самостоятельными и творчески зрелыми взрослыми. В том же пассаже, где она упрекала партию в том, что та считает женщин пригодными только для ведения домашнего хозяйства, она высмеяла Троцкого — на съезде шахтеров он хвалил рабочих, которые добровольно и самостоятельно поменяли витрины, подчеркивая тем самым, что он хотел ограничить деятельность рабочих только самыми простыми вспомогательными задачами.

Как и Люксембург, Коллонтай полагала, что социализм невозможно построить только одним Центральным Комитетом, каким бы он ни был гениальным. Профсоюзы не были простыми инструментами или приводными ремнями строительства социализма, они в значительной степени были основателями и созидателями социалистического способа производства. Коллонтай сжато сформулировала фундаментальное различие: *«Рабочая оппозиция» видит в профсоюзах управляющих и созидателей коммунистической экономики, в то время как Бухарин вместе с Лениным и Троцким оставляют им только роль школ коммунизма и ничего более»*[449]. Коллонтай разделяла убеждение Люксембург, что практический опыт работы на фабрике совершенно необходим для специалистов и технических работников партии. Коллонтай вовсе не хотела умалить роль специалистов и оргработников, она признавала ее важной, но эффективно работать они могли только в подлинном сотрудничестве с профсоюзами и рабочими. Ее представление о том, какие формы это сотрудничество могло бы принять, похоже на образ отношений крестьян и работников сельскохозяйственной службы, чьи заказы эта служба выполняла бы. Такие технические центры, связанные с промышленным производством, были бы организованы по всей России, но задачи, которые ставились перед ними, и услуги, которые они обеспечивали бы, непосредственно отвечали бы спросу производителей[450]. Специалисты должны служить производителям, а не

диктовать им свои условия. В довершение Коллонтай предложила, что человек, который имеет под своим началом специалистов, но у которого отсутствует практический опыт, а партийный стаж начинается после 1919 г., должен быть снят с должности, по крайней мере до тех пор, пока он не поработает физически.

Коллонтай, как и Люксембург, ясно видела социальные и психологические последствия недооценки самостоятельной инициативы рабочих. Отталкиваясь от конкретных примеров — заготовка дров, закладка столовой, открытие детских ясель, она показывала, как рабочим мешали на каждом шагу бюрократическими задержками и крючкотворством: «к каждой самостоятельной мысли или инициативе относились как к „ереси“, как к нарушению партийной дисциплины, как к попытке посягнуть на прерогативы центра, который должен „предвидеть“ и „декретировать“ все и вся». Нанесенный вред был связан не только с тем, что специалисты и бюрократия, вероятнее всего, принимали плохие решения. Такое отношение к рабочим имело два других последствия. Во-первых, оно выражало «недоверие к творческим способностям рабочих», которые оказывались недостойными «провозглашенных идеалов нашей партии». Во-вторых, и самое главное, оно душило моральный и творческий дух рабочего класса. В своей неудовлетворенности работой специалистов и чиновников «рабочие стали циничными и заявили: „Пусть [эти] чиновники сами заботятся о нас“. А в результате случайные и близорукие чиновники контролируют работу унылых рабочих, проклинаящих тот день, когда они пришли на эту фабрику»[451].

Отправная точка Коллонтай, как и Люксембург, состояла в предположении о *характере* задач, которые возникают при проведении революций, и о создании новых форм производства. Для них обеих такие задачи похожи на плавание по маршрутам, которых еще нет и не может быть на карте. Могут быть какие-то приближенные способы навигации, но не может быть никаких планов сражений, составленных заранее: многочисленные неизвестные в уравнении делают простое решение невозможным. На более техническом языке такие цели могут быть достигнуты только через стохастический процесс последовательных приближений, проб и ошибок, через эксперимент и опытное знание. Вид знания, требующегося в таких попытках, не дедуктивный вывод всего на свете из первопричины, а скорее то, что греки классического периода называли *metis* — понятие, к которому мы еще вернемся. Обычно его неправильно переводят как «ловкость», но *metis* лучше понимать как вид познания, которое может быть приобретено только через долгую практику в аналогичных, но не идентичных задачах, требующих постоянной адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Именно к этому виду знания призывала Люксембург, когда характеризовала строительство социализма как освоение «новой территории», требующее «импровизации» и «творчества». Именно к этому виду знания обращалась Коллонтай, когда упорно утверждала, что партийные лидеры совершали ошибки, что они нуждались в «каждодневном опыте» и «практической работе с основным классовым коллективом» тех, «кто на самом деле в одно и то же время производит и организует производство»[452].

Люксембург использовала аналогию, которую признал бы правильной любой марксист. Она спрашивала: мыслимо ли, чтобы даже самые умные управляющие феодальным поместьем смогли сами изобрести капитализм? И отвечала, конечно, нет, потому что их знания и навыки были напрямую привязаны к феодальному производству, точно так же, как технические специалисты ее времени получили свои первые уроки в рамках

капиталистической структуры. Для будущего в настоящем просто не существует прецедента.

Повторяя для риторического эффекта мнение, которое выражали и Люксембург, и Ленин, Коллонтай утверждала, что «коммунизм невозможно установить декретом. Он может быть создан только в процессе практического научения, возможно, через ошибки, но только с помощью творческих сил самого рабочего класса». Роль специалистов и должностных лиц существенна, но «только те, кто непосредственно связан с производством, могут внести в него что-то по-настоящему новое»[453].

Для Ленина партия авангарда — машина для организации революции, а затем для построения социализма — задачи, которые (по предположению) в основном решены. Для Ле Корбюзье дом — машина для жилья, а городской проектировщик — специалист, чьи знания говорят ему, как должен быть построен город. Для Ле Корбюзье люди не имеют значения для *процесса* городского планирования, хотя в результате этого процесса должен возникнуть город, в котором этим людям будет удобно жить. Ленин не может делать революцию без пролетариата, но он кажется ему войском, которое надо направлять. Конечно, задачи революции и научного социализма решаются ради рабочего класса. Каждая из этих задач имеет единственный ответ, который может быть найден специалистами и, следовательно, управляющим центром, который может и должен принять верное решение. В противоположность этому Коллонтай и Люксембург рассматривают задачи, решение которых заранее неизвестно. Результаты неуверенных попыток, множество экспериментов и начинаний лучше всего укажут, какие линии атак окажутся успешными, а какие останутся бесплодными. Революция и социализм будут лучше всего продвигаться, как и город Джекобс, если они являются совместным творчеством специалистов и одаренных дилетантов. В конце концов, нет никакого строгого различия между средством и целью. Авангардная партия Люксембург и Коллонтай не делает революцию и не строит социализм в прямом смысле, как, скажем, фабрика производит технические оси. Таким образом, работа авангардной партии не может быть подобающим образом оценена, как оценивали бы фабрику по ее производительности: сколько осей определенного качества она выпускает с данным количеством рабочих, при данных капиталовложениях и так далее, независимо от того, каким образом достигается результат. К тому же авангардная партия Люксембург и Коллонтай одновременно производит определенную разновидность рабочего класса — творческий, сознательный, компетентный и способный на великие дела рабочий класс, а это — предпосылка любых других свершений. При правильном взаимодействии авангардной партии с рабочим классом способ достижения цели так же важен, как и пункт назначения. Если это взаимодействие односторонне, авангардная партия может достичь своих революционных целей с помощью средств, которые поразят ее основную цель.